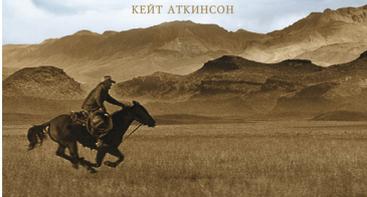


# СЫН

## ФИЛИПП МАЙЕР

Одно лишь слово - потрясающе. Эта книга войдет  
в список Великих Американских Романов.  
Она заслуживает того, чтобы  
ее назвали "шедевр".  
КЕЙТ АТКИНСОН



# Филипп Майер

## Сын

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=14473840](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14473840)  
Сын: Фантом Пресс; Москва; 2015  
ISBN 978-5-86471-711-0

### Аннотация

Весна 1849 года. Илаю МакКаллоу было всего тринадцать, когда индейцы команчи напали на его дом в Техасе, убили мать и сестру, а его самого забрали с собой. Сообразительный и храбрый, Илай привык к жизни среди индейцев и скоро стал одним из них. Не белый и не индеец, мальчик завис между двумя цивилизациями, уходящей и наступающей. Он должен отыскать свое место в мире, где приключения и трагедии сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой.

1915 год. Питер МакКаллоу придавлен чувством вины за происходящее вокруг него, за ту ярость, с какой люди выгрызают себе место под солнцем. Он полная противоположность Илаю, своему отцу, – он не действует, но созерцает и размышляет. Питер слишком рано явился в этот мир, где в цене лишь сила и напор.

Середина XX века. Джинни МакКаллоу – наследница семьи, несгибаемая леди, железной рукой управляющая богатейшей компанией Техаса, глава мощной нефтяной империи. Ее мир – мир холодного расчета и стремительных реакций на политические новости. Но она не чувствует себя в этом мире своей.

Через историю одной семьи, полную испытаний, страсти, успеха, Филипп Майер разворачивает поразительную историю Техаса. Эпический роман, охватывающий больше столетия, залитый слезами и кровью, полный нежности, приключений и отваги.

## Содержание

Один	6
Два	9
Три	11
Четыре	14
Пять	35
Шесть	39
Семь	47
Восемь	53
Девять	55
Десять	60
Одиннадцать	71
Двенадцать	74
Тринадцать	76
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Филипп Майер

## Сын

© Мария Александрова, перевод, 2015

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2016

\* \* \*

*Моей семье*

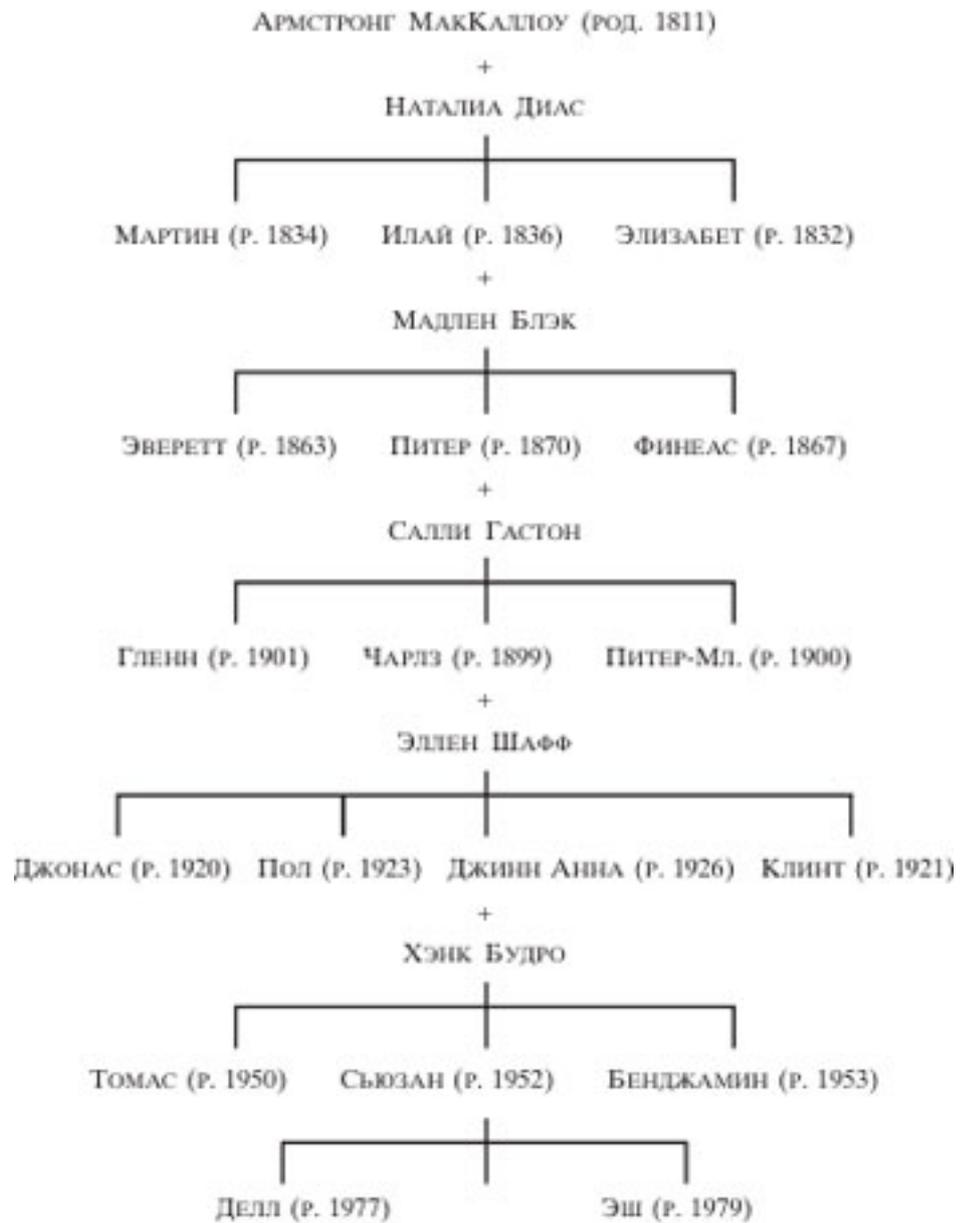
*Во втором столетии христианской эры владычество Рима обнимало лучшую часть земного шара и самую цивилизованную часть человеческого рода...*

*...Его величие было унижено до того, что обратилось в прах, и вышедшие из холодных северных стран толпы неведомых варваров утвердили свое владычество над самыми цветущими провинциями Европы и Африки.*

*...Превратности фортуны, которая не щадит ни людей, ни самые великие из их произведений и которая низвергает в общую могилу и империи, и города.*

*Эдвард Гиббон*

**Семья Маккаллоу**



## Один Полковник Илай Маккаллоу

*Из фондов WPA<sup>1</sup> 1936 года*

Мне предсказали, что я доживу до ста лет, и, перешагнув этот рубеж, я перестал сомневаться в этом пророчестве. Я умираю вовсе не христианином, хотя скальп мой цел, но если существуют Земли Вечной Охоты, туда-то меня и направят. Туда или к реке Стикс. Сегодня мне кажется, что жизнь была чересчур коротка: еще год – и я мог бы сделать что-нибудь полезное. А вместо этого прикован к постели и гажу под себя, как младенец.

Что стоит Создателю подкинуть мне силенок, чтобы смог я подобраться к воде, что течет через пастбища. Река Нуэсес, восточная излучина. Я всегда питал слабость ко всякой языческой бесовщине. Мысленно я уже трижды туда добирался. Известно же, что Александр Великий в последнюю ночь своей земной жизни улизнул из дворца и пытался прыгнуть в Евфрат – понимал: если тело его исчезнет без следа, люди решат, что он, подобно богам, вознесся на небеса. Жена поймала его в последний момент. И приволокла домой, вынудив умереть как обычный смертный. А еще спрашивают, почему я не женился второй раз.

Если б явился мой сынок, я бы не стерпел его победной улыбки. Семя моего позора. Мне известно, чего он достиг, и подозреваю, он давно благословил берега Иордана, раз уж Квана Паркер, последний вождь команчей, даровал парню жалкий шанс дожить до пятидесяти. В обмен на эти сведения я отдал Кване и его воинам молодого бычка; великолепное животное забили копыями по старому обычаю на моем пастбище, что прежде было их охотничьими угодами. Вместе с Кваной пришел и почтенный вождь арапахо, и когда мы уселись, чтобы разделить еще теплую печень быка, омытую его собственной желчью, как велит древний обычай, он вручил мне серебряное кольцо, собственноручно снятое им с пальца Джорджа Армстронга Кастера<sup>2</sup>. На кольце есть надпись «7 Кав.» и глубокая царапина от копыя. Но подходящего наследника я лишен, так что унесу это кольцо с собой в воды реки.

За то время, что я живу, можно привыкнуть ко всему. Декларация независимости, освободившая Республику Техас от мексиканской тирании, была ратифицирована 2 марта 1836 года в жалкой лачуге на берегу Бразос. Половина из подписавших ее страдали от малярии; другая половина – сплошь бандиты, бежавшие в Техас от виселицы. Я был первым младенцем мужского пола, родившимся в новой республике.

Испанцы торчали в Техасе сотни лет, но все без толку. После прибытия Колумба они покорили всех индейцев, стоявших на их пути, и хотя я не встречал ни одного ацтека, те наверняка напоминали тихих мальчиков из церковного хора. И только липаны-апачи остановили конкистадоров. А потом пришли команчи. Со времен монгольского нашествия мир не знал подобного. Они скинули в море апачей, разогнали испанскую армию, превратили

---

<sup>1</sup> Администрация развития общественных работ, созданная в 1935 году в рамках осуществления Нового курса Рузвельта; призвана была предоставлять работу тем, кто получал до этого пособие по безработице. В рамках государственной программы среди прочего выходили исследования по истории США, каталоги и публикации для государственных, муниципальных служб, исследования по медицине и демографии. Под руководством доктора Лютера Х. Эванса была собрана крупнейшая коллекция мемуаров, устных и письменных воспоминаний известных людей во многих штатах. – *Здесь и далее примеч. перев.*

<sup>2</sup> Американский кавалерийский офицер, отчаянный храбрец, безжалостно истреблявший аборигенов. Погиб в сражении с индейцами дакота, весь его отряд был разгромлен.

Мексикю в невольничий рынок. Я видел однажды, как команчи гнали пленников вдоль Пекос, сотни людей гнали как скот.

Почти поверженное аборигенами мексиканское правительство придумало отчаянный план усмирения и колонизации Техаса. Любой человек, абсолютно любой национальности, готовый поселиться к западу от реки Сабин, получит четыре тысячи акров свободных земель. Примечание к контракту, которое обычно печатают мелким шрифтом, в данном случае было написано кровью. Философия команчей по отношению к чужеземцам непогрешима, как сам Папа: мужчин – пытать и убивать, женщин – насиловать и убивать, детей – обращать в рабов или усыновлять. Мало кто из старушки Европы откликнулся на заманчивое предложение. Точнее, вообще никто. В отличие от американцев. Они-то хлынули мощным потоком. У них, видать, были лишние женщины и дети, которых можно принести в жертву Господу, – ибо мне даровано снимать плоды с древа жизни, как говорится.

Мой отец прибыл в Матагорда в 1832-м, в ту пору, когда смерть была обычным делом, а уж расстреляют тебя солдаты или команчи снимут скальп – все одно: Господь, считай, оказал тебе великую милость. К тому времени мексиканское правительство, встревоженное нашествием северных орд в свои пределы, запретило американцам иммиграцию в Техас.

И все равно это было лучше, чем жизнь в Старых Штатах, где на твою долю выпадали только жалкие крохи вроде редких колосков с уже убранного поля, если ты, конечно, не сын плантатора. Это пускай официальные документы доказывают, что, мол, только благодаря богатеям из Остина и Хьюстона мексиканцы смогли уцелеть и сохранить свои земли. Их потомки затеяли настоящую войну в книгах и газетах, лишь бы обелить имена родственников и объявить их Основателями Техаса. На самом деле только простые люди, нищие, вроде моего отца, воевали за Техас.

Как любой здоровый боеспособный шотландец, он сражался у Сан-Хасинто<sup>3</sup>, а после войны был и кузнецом, и оружейником, и землемером. Высокий, с гордой осанкой и сильными руками, словоохотливый – рядом с ним люди чувствовали себя уверенно и спокойно и лишь позже понимали, насколько они заблуждались.

Отец мой не был религиозен, оттого, наверное, я и вырос язычником. Впрочем, он будто всегда чувствовал дыхание бледного коня у себя за спиной. Всегда считал, что последние времена близки. Сначала мы жили в Бастропе, выращивали кукурузу, сорго, разводили свиней, расчищали пустоши под посевы. Пока не явились новые поселенцы, из тех, что дожидались, пока минует угроза нападений индейцев. Они привели с собой законников, чтобы оспорить заслуги и права тех, кто осваивал эту землю и побеждал краснокожих. Первые техасцы получили свои владения, заплатив за них настоящую цену – цену человеческой жизни, а читать и писать большинство из них не умело. К десяти годам я выкопал уже четыре могилы. Вся семья мгновенно просыпалась, едва заслышав топот копыт, и когда гонец с очередными вестями появлялся на пороге – кого-то из соседей закололи, как свиней на колбасы, – отец заряжал ружье и вместе с гонцом растворялся во мраке ночи. Храбрецы умирают молодыми – эта поговорка в ходу у команчей, но справедлива она и по отношению к первым американцам в Техасе.

Целых десять лет мужественные техасцы справлялись в одиночку. Однако правительству очень нужны были новые люди, особенно люди с деньгами. Словно невидимый телеграф донес благую весть Старым Штатам: отныне эта страна безопасна. И в 1844 году у наших ворот появился первый чужак: стрижка от парикмахера, магазинная одежда, гнедая

---

<sup>3</sup> Сражение у Сан-Хасинто, состоявшееся 21 апреля 1836 г., стало решающей битвой Техасской революции. Техасская армия разгромила мексиканцев, а боевой клич техасцев «Помни Аламо!» с тех пор вошел в американскую историю.

кобыла. Попросил зерна, потому как у его лошади копыта воспаляются от травы. Лошадь, которая не может есть траву, – такого я в жизни не слыхивал.

Два месяца спустя у Смитвиков отсудили их участок, а потом за гроши купили землю Хорнсби и МакЛеодов. К тому времени в Техасе было больше законников на душу населения, чем в любой другой части континента, и через несколько лет все первые поселенцы потеряли свои земли и вынуждены были двигаться дальше на запад, вновь на индейские территории. Вся эта знать, подло укравшая чужое, уже замышляла войну, чтобы покрыть свои грязные делишки и сохранить своих черных рабов; Юг был бы разорен и погублен, но Техас, дитя Запада, остался бы в целостности и сохранности.

Тем временем тучи нависли над моей матерью, происходившей из старого кастильского рода. У нее были тонкие черты лица, но кожа смуглая, и эти новые пришельцы объявили ее окторонкой – у нее якобы 1/8 негритянской крови. Господа белые плантаторы гордились своим умением замечать такие вещи.

К 1846 году мы перебрались за границы поселений, на отцовский надел на реке Педерналес. Это были охотничьи угодья команчей. Здешние роци никогда не слышали звука топора, земли были тучны, а звери, жившие на них, плодовиты. Густые травы почти в человеческий рост, жирный чернозем под ногами, а по склонам даже самых крутых холмов – море цветов. Совсем не то что нынешняя каменистая пустыня.

Диким скотом легко обзаводиться при помощи лассо, и уже через год у нас было стадо в сотню голов. Свиньи и мустанги тоже ничего нам не стоили, бери сколько хочешь. А в придачу – олени, дикие индюки, медведи, белки, иногда даже бизоны; в реке – рыба, утки и черепахи; сливы, дикий виноград, хурма, дикий мед – насколько богата была эта земля тогда, и как же она испоганена людьми ныне. Одна была проблема – сберечь в целостности свой скаल्प.

## Два Джинн Анна Маккаллоу

3 марта 2012 года

Тихие голоса и шепот в полумраке. Она лежала в громадном зале, который сначала приняла по ошибке за церковь или судебную палату. Не спала, но все равно ничего не чувствовала, – так бывает, когда нежишься в теплой ванне. Поблескивали канделябры, в камине дымились поленья, вокруг мебель в стиле короля Джеймса и какие-то античные бюсты. На полу ковер, подаренный, должно быть, шахом. Интересно, найдут ли ее здесь.

Это был большой белый дом в колониальном стиле: девятнадцать спален, библиотека, гостиная и бальный зал. И она, и все ее братья родились здесь, но сейчас это просто место встречи семейства по выходным дням и праздникам. Прислуга до утра не вернется. Сознание оставалось ясным, но вот все прочее словно отключили, и в этом определенно кто-то виноват. Ей уже восемьдесят шесть, но хотя она и любила повторять, что ждет не дожидается, когда наконец отправится в Землю *Manana*<sup>4</sup>, это было не совсем искренне.

*Самое важное – это человек, который делает то, что я велела.* Именно так она сказала репортеру «Тайм», и ее портрет поместили на обложку – сорокалетняя, но все еще яркая и страстная, она стояла у своего «кадиллака» на фоне целого поля насосов, качающих нефть. Едва познакомившись с ней, люди мгновенно забывали, что имеют дело с маленькой хрупкой женщиной. Гипнотический голос и глаза – стального цвета, как старый револьвер, и холодные, как северный ветер; эффектная женщина, хотя и не красавица. Фотограф-янки сумел это передать. Он заставил ее расстегнуть блузку, а волосы взбил так, будто она выходит из открытого автомобиля. Не вершина ее могущества – до этого еще пара десятков лет, – но очень важный момент карьеры. Ее уже начали принимать всерьез. Человек, который сделал эту фотографию, умер. *Никто не станет тебя искать*, подумала она.

Да, именно так все и должно было случиться; даже ребенком она почти всегда была в одиночестве. Ее семья владела всем городом. Людей она не понимала. Мужчины, на которых она походила во всем, не желали ее общества. Женщины, на которых она не походила вовсе, улыбались слишком часто, смеялись чересчур громко и напоминали маленьких комнатных собачонок, предназначенных лишь для населения интерьера. В этом мире не было места для таких, как она.

Прохладным весенним днем она, совсем еще девочка, лет восьми или десяти, сидит на террасе. А вокруг – насколько хватает глаз – зеленые холмы, и все это – насколько хватает глаз – земля МакКаллоу. Но что-то в картинке не так. Вот прямо на лужайке стоит ее «кадиллак», а старых конюшен, которые ее братец еще не успел спалить, уже почему-то нет. *Я должна проснуться.* Но тут заговорил Полковник, ее прадед. Где-то рядом и ее отец. Дед, Питер МакКаллоу, тоже был, но пропал бесследно, и никто о нем слова доброго не сказал ни разу, и поэтому она тоже его не любила.

– Думаю, в это воскресенье тебе следует появиться в церкви, – сказал отец.

Полковник же считал, что штуки вроде церкви – для черных и мексиканцев. Ему исполнилось сто лет, и он не упускал случая уведомить людей об их заблуждениях. Руки у него были крепкие, как шомпол, а лицо точно дубленая кожа, и люди говорили, что если он вообще может упасть, то только в собственную могилу.

---

<sup>4</sup> Завтра (*исп.*).

– Эти священники, – говорил Полковник, – если не ухлестывают за вашими дочерьми, не сжирают всех жареных цыплят и пироги из ваших холодильников, то непременно обгоривают ваших сыновей.

Отец был раза в два крупнее Полковника, но, как не уставал повторять Полковник, мышцами силен, а разумом слаб. Ее братец Клинт купил у пастора лошадь с седлом, а под попоной обнаружилась мозоль размером со сковородку.

Отец все равно заставил ее идти в церковь, подняв ни свет ни заря, чтобы успеть в Карризо к началу занятий в воскресной школе. Глаза у нее слипались, и ужасно хотелось есть. Когда она спросила, что после смерти случится с Полковником, который в эту самую минуту безмятежно попивает дома джулеп, учительница сказала, что Полковник отправится прямо в ад, где его будет мучить сам Сатана. *В таком случае, заявила Джинни, я отправлюсь вместе с ним.* Да, она была бесстыжей проказницей. Будь она мексиканкой, ее бы непременно высекли розгами.

На обратном пути она все никак не могла понять, почему отец норовит держаться поближе к училке, у которой нос похож на орлиный клюв, а изо рта пахнет так, будто кто-то внутри нее уже умер. Противная в общем, как ведро дегтя. *Во время войны, говорил отец, я пообещал Господу, если выживу, ходить в церковь каждое воскресенье. Но когда ты уже должна была вот-вот родиться, у меня было так много дел, что я не сдержал данного слова. И знаешь, что случилось?* Она знала – это она знала всегда. Но отец все равно напомнил: *твоя мама умерла.*

Джонас, старший брат, сказал, что не надо бы пугать малышку. Но отец велел Джонасу замолчать, а Клинт ущипнул ее и прошептал: *в аду тебе первым делом ткнут вилами в задницу.*

Она открыла глаза. Клинта нет уже шестьдесят лет. В полумраке комнаты ничего не изменилось. *Дневники,* вспомнила она. Однажды она уже спасла их и с тех пор хранила. Теперь эти бумаги найдут.

## Три Дневники Питера Маккаллоу

10 августа 1915 года

Сегодня мой день рождения. При помощи небольшой дозы виски пришел к выводу: я просто пустое место. Оглядываясь на прошедшие сорок пять лет, не замечаю ничего стоящего – то, что я по ошибке принимал за душу, напоминает скорее черную бездну, – я позволил другим людям создавать меня по их собственной прихоти. Спросить Полковника, так я вообще худший из его сыновей – он всегда предпочитал Финеаса и даже бедолагу Эверетта.

Этот дневник – единственная честная хроника семейства. Восьмидесятилетие Полковника планируется праздновать в Остине, и я не представляю, что можно искренне сказать о человеке, которого считают гордостью штата. Тем временем чертовое лето продолжается. Телефонный кабель, идущий в Браунсвилль, надо бы закопать поглубже, а то всякий раз после ремонта мятежники вновь его взрывают. Вчера вечером сорок *sediciosos*<sup>5</sup> напали на Кинг Ранчо, в Лос-Тулитос случилось настоящее трехчасовое сражение, а президента Лиги Закона и Порядка Округа Камерон просто пристрелили, хотя не могу утверждать наверняка, считать последнее утратой или удачей.

Что до мексиканцев, когда видишь мертвые тела, валяющиеся в канавах или свисающие с деревьев, думаешь о них как о природном бедствии вроде нашествия пантер или волков. «Сан-Антонио экспресс» о них даже не пишет – на это ушло бы слишком много бумаги, – и теханос умирают безвестными; если их вообще решают похоронить, то забрасывают сверху щебнем, а чаще просто обвязывают тело веревкой и отволакивают подальше, где оно никому не будет мозолить глаза.

После того как в прошлом месяце прикончили Лонгино и Эстебана Моралесов (не знаю, кто это сделал, но подозреваю, что Нил Гилберт), Полковник придумал повесить на грудь всем нашим *вакерос*<sup>6</sup> записки: «Этот человек – хороший мексиканец. Пожалуйста, не трогайте его. Когда надобность в нем отпадет, я сам его шлепну». И они носят эти бумажки с гордостью; они прямо молятся на Полковника (как и все остальные) и называют его *nuestro patron*<sup>7</sup>.

К несчастью для теханос, скотоводство здесь постепенно угасает. На прошлой неделе мы с Салливаном осматривали поврежденную ограду на западных пастбищах и к ночи насчитали только 263 коровы против 478 голов весной. Убытков на двадцать тысяч долларов, и все указывает, по меньшей мере косвенно, на наших соседей, Гарсия. Сам я скорее готов потерять королевство, чем обвинить невиновного. Но подобные чувства в наших краях редкость.

Всегда считал, что лучше бы мне родиться в Старых Штатах. Земля там пропитана кровью не меньше, чем наша, но им хотя бы больше не нужно носить оружие. Впрочем, характер у меня не самый подходящий. По мне, и Остин чересчур шумный город – так и кажется, что все его шестьдесят тысяч жителей орут разом, и все на меня. Я вообще ничего не забы-

---

<sup>5</sup> Мятежники, бунтовщики (*исп.*).

<sup>6</sup> Пастухи (*исп.*).

<sup>7</sup> Наш защитник (*исп.*).

ваю, годами храню в памяти звуки и образы, потому и остаюсь здесь, в месте, которое по-настоящему мое, неважно, подхожу я ему или нет.

Пока мы проверяли ограду, Салливан рассеянно заметил, что следы ведут на земли Гарсия, за реку, а она обмелела настолько, что перейти ее можно в любом месте.

– Вряд ли это старый Педро, – сказал он. – Но зятья его самые подлые мерзкие ниггеры каких свет не видывал.

– Ты слишком много времени проводишь с Полковником, – буркнул я.

– Он действительно *sabe*<sup>8</sup> в мексиканцах.

– Я так не думаю.

– Тогда, босс, надеюсь, вы найдете другое объяснение, почему у нас поломана изгородь и следы ведут на пастбище Педро Гарсия, а мы недосчитались пары сотен голов. Были времена, когда мы просто переправились бы через реку и вернули скот обратно, но нынче это нам не по зубам.

– Старый Педро не может больше следить за каждым дюймоном своих земель, как и мы не можем следить за нашими.

– Вы же взрослый мужчина, – вздохнул он, – не понимаю, почему вы ведете себя как маленький мальчик.

Больше мы не разговаривали. Он считал личным оскорблением то, что в наши времена мексиканцам позволено иметь так много земли. Вакерос подливали масла в огонь: за высокий голос при такой массивной туше они за спиной звали Салливана Дон Кастро.

А что до Педро Гарсия, беды преследовали его, как брошенный пес. Двух его зятьев мексиканские власти разыскивали за кражу скота – примечательный факт, учитывая равнодушие государства к этому вопросу. На прошлой неделе я наведалься было к нему, но Хосе и Чико дали мне от ворот поворот. *Дон Педро нет хорошо чувствовать*, заявили они, прикидываясь, что не понимают мой испанский. Я знал Педро всю свою жизнь и не сомневался, что, как бы ни был болен, он примет меня, но, конечно, молча развернул коня.

Педро постоянно не хватало рабочих рук, кустарник заполнил пастбища, и последние пару лет старик толком справлялся лишь с половиной своего стада. Год за годом он зарабатывал все меньше, нанимал все меньше работников, и с каждым годом дела шли все хуже.

Но он все равно оставался добрым малым. У него в гостях мне было уютнее, чем дома. Мы вспоминали старые времена, когда на этих землях царил мир: белые пыльные дороги, глинобитные деревенские домишки, густая трава до самого стремена и никакого колючего кустарника. Теперь эти колючки повсюду, а старые деревни в запустении. Зато кривые деревянные лачуги растут как грибы и с такой же скоростью разваливаются.

Педро во многом был мне больше отцом, чем Полковник; если он когда-нибудь и отзвывался обо мне грубо, я никогда этого не слышал. Он надеялся, что мне приглянется какая-нибудь из его дочерей, и одно время я вправду с ума сходил по Марии, старшей, но Полковник был категорически против такой связи, и я, как последний трус, сделал вид, что охладел. Мария уехала учиться в Мехико-Сити, а ее сестры вышли замуж за мексиканцев, которые положили глаз на пастбища Педро.

Больше всего я боюсь, что Салливан прав и что зятья Педро замешаны в краже нашего скота. Они, наверное, не понимают последствий; не понимают, что дон Педро не в состоянии защитить их.

*11 августа 1915 года*

---

<sup>8</sup> Разбирается (*исп.*).

Салли с доктором Пилкингтоном повезли Гленна, нашего младшего, в Сан-Антонио. Вчера вечером мы наткнулись на каких-то бандитов и мальчика подстрелили. Ранение в плечо, жизни не угрожает, и Полковник, разумеется, посчитал, что мне нечего тащиться в Сан-Антонио с раненым сыном.

Полковник решил, что стрелял кто-то из наших соседей. Когда я возразил, мол, было слишком темно, чтобы разглядеть наверняка, меня тут же назвали предателем.

– Если бы ты усвоил хоть что-то, чему я тебя учил, – заявил он, – знал бы, что это Чико и Хосе.

– Ну, у тебя, наверное, глаза как у пумы, если видишь в темноте на добрый фарлонг<sup>9</sup>.

– Как тебе прекрасно известно, – фыркнул Полковник, – я всегда видел дальше других.

Внизу собралась добрая четверть населения города (белая четверть). А еще рейнджеры, наши вакерос и вакерос Мидкиффа. Через несколько минут мы отправляемся на ранчо Гарсия.

---

<sup>9</sup> Около 200 метров.

## Четыре Илай Маккаллоу

Последнее полнолуние весны 1849-го. Мы уже два года прожили землевладельцами на Педерналес, неподалеку от Фредериксберга, когда у нашего соседа увели двух лошадей прямо посреди дня. Этот парень, которого отец называл не иначе как Сифилитиком, пришел с Аппалачей. Он воображал, что Техас – это рай для лентяев, где дрова сами складываются в поленицы, фрукты падают вам в рот, а трубка всегда набита табаком и дурманом. Таких типов полно было на новых территориях, хотя большинство поселенцев походили на моего отца – стремились разбогатеть, если удастся прожить достаточно долго, – а еще были немцы.

До прихода немцев считалось, что в жарком климате невозможно делать сливочное масло. Как и невозможно выращивать пшеницу. Рабовладение вбило это людям в головы, но немцы, которым никто ничего подобного не объяснял, заявили сюда и принялись взбивать первоклассное масло и выращивать обильные урожаи благородного злака, продавая и то и другое по баснословной цене своим обалдевшим соседям.

У немцев не было аллергии на работу, это сразу становилось ясно, стоило лишь бросить взгляд на их владения. Если, проезжая мимо поля, вы видели ровно вспаханную землю, борозда к борозде, значит, участок принадлежал немцу. Если поле каменистое, а борозды выются так, словно их прокладывал слепой индеец, если на дворе декабрь, а хлопок еще не убран, сразу понятно, что перед вами участок местного белого поселенца, переехавшего из Теннесси в надежде, что Мать Природа в бесконечной щедрости своей каким-то чудом сама примется рабски трудиться на него.

Но я забегаю вперед. В то утро отец должен был решить сложную задачу: украдены две чахлые лошаденки, и следы неподкованных пони ведут напрямик в холмы. Здравый смысл подсказывал, что злоумышленники все еще неподалеку – никакой уважающий себя конокрад не удовлетворится шелудивыми колченогими клячами, – но закон приграничья требовал преследовать злодеев, поэтому отец вместе с другими мужчинами бросился в погоню, а меня с братом оставил, вручив каждому по ружью и посеребренному пистолету, трофею из Сан-Хасинто. Этого считалось вполне достаточно для защиты крепкого жилища, поскольку армия стояла у границы и набеги индейцев прекратились с начала 40-х.

Мужчины уехали еще до полудня, и мы с братом, совсем мальчишки, чувствовали себя абсолютно взрослыми и нимало не беспокоились. Аборигенов мы не боялись. Несколько дюжин тонкавов<sup>10</sup> жили неподалеку в ожидании, пока правительство откроет резервации, они, может, и рады бы ограбить каких-нибудь заезжих янки, но не рискнут досаждать местным: нам хватило бы самого ничтожного повода, чтобы броситься на индейцев.

К двенадцати годам я подстрелил самую крупную пантеру в Округе Бланко. Не терял след оленя даже на каменно-твердой земле, а внутренний компас у меня был не хуже, чем у отца. Даже мой братец, питавший странную слабость к книгам и прочей поэзии, мог заткнуть за пояс любого парня из Старых Штатов.

Да, брата я стыдился. Порой приходилось указывать ему на следы, которые он не заметил, объяснять, в какую сторону шел олень, сыт был зверь или голоден и почему вдруг забеспокоился. Видел я дальше, бегал быстрее, слышал малейшие шорохи, а ему казалось, что мне чудится.

---

<sup>10</sup> Тонкава (тонки) – индейское племя юга Великих Равнин. В 1855 г. в Техасе открыли первые резервации, где поселили племя тонкава.

Но братца это нисколько не волновало. Непонятно с чего, он не сомневался в своем превосходстве. И если я ненавидел каждый свежий след фургона, каждую приметку появления новых поселенцев, мой брат всегда знал, что должен уехать на Восток. Он бесконечно твердил, насколько лучше жизнь в больших городах, что его мечты вот-вот сбудутся, ведь урожаи на наших землях богаты, поголовье скота увеличивается и скоро родители смогут нанять работника, чтобы заменить его.

Благодаря немцам из Фредериксберга, где было собрано больше книг, чем во всем остальном Техасе, люди вроде моего братца считались нормальными. Он знал немецкий, потому что наши соседи говорили на этом языке, французский – потому что это самый лучший язык, и испанский – потому что без этого в Техасе не проживешь. Он прочел «Страдания юного Вертера» в оригинале и заявлял, что тоже пишет роман, и гораздо лучше, хотя почитать никому не давал.

Помимо Гете и Байрона мысли моего брата занимала наша сестрица. Она была красотка, а на пианино играла так же здорово, как он читал и писал. Их близость все вокруг считали непристойной. А про мою вытянутую физиономию немцы говорили, что я похож на француза.

Могу сказать: если что непотребное и было между братом и сестрой, я этого никогда не замечал. Хотя, конечно, с ним она всегда разговаривала голоском нежным, как шелк, и сладеньким, будто с языка прямо карамель течет, а со мной обращалась ровно с дворянкой. Братец, бывало, сочинял пьесы для домашних представлений, где они изображали несчастных влюбленных, а мне доставалась роль индейца или разбойника, который губит их жизнь. Отец притворялся заинтересованным и бросал на меня сочувственные взгляды. В целом, на фоне братца, который был «так себе, сойдет», меня отец считал почти идеальным. Но мама гордилась своими старшими детьми и возлагала на них большие надежды.

Дом – две комнаты, соединенные крытым коридором, – стоял на крутом утесе, где из скалы бил источник, питавший речку Педерналес. Деревья вокруг такие громадные, как будто растут тут со дня творения. Отец сказал, что если мы найдем место, где лес не мешает построить большой дом, то там и поселимся. Мать, конечно, думала иначе.

Мы огородили прочным забором двор и загон для скота, соорудили коптильню, амбар и конюшню, где отец устроил даже небольшую кузницу. У нас в доме были нормальные деревянные полы, стеклянные окна со ставнями и немецкая печка, которой хватало всего нескольких поленьев на целую ночь. Мебель выглядела как покупная; мормоны в Бернете все починили и заново покрасили.

В большой комнате стояли родительская кровать под балдахином и койка сестры, а мы с братом делили кровать в неотапливаемой комнатке в конце коридора, хотя я частенько предпочитал ночевать на улице, в гамаке на старом дубе. Брат зажигал свечу и читал (мать позволяла ему такую роскошь), а я не мог спать при свете.

В большой комнате стояла главная семейная ценность – клавикорды, единственное наследство, доставшееся матушке от испанских предков. По воскресеньям немцы приходили в гости – полюбоваться на такую редкость, попеть и посмотреть представление очередной пьесы моего братца. Мать заводила разговор о переезде в Фредериксберг, где дети могли бы продолжить образование. Меня она считала пропащим созданием, и не будь сама участницей моего появления на свет, отрицала бы, пожалуй, свою роль в этом деле. Я же намеревался примкнуть к рейнджерам, как только подрасту, чтобы сражаться с индейцами, мексиканцами и прочими врагами.

Оглядываясь назад, я понимаю: мать знала, что должно случиться. В те времена люди были более открыты, мы чувствовали малейшую дрожь в пространстве вокруг, чуяли при-

ближение опасности; даже типы вроде моего брата жили в согласии с природными законами. Это сейчас люди закованы в броню. Ничего не видят и не слышат. Земля искалечена, и Закон извращен. В Книге Господа сказано: я соберу вас в Иерусалиме и расплавлю вас в горниле моего гнева. Сказано, что так очистятся земли, которые нечисты<sup>11</sup>. Я согласен. Нам нужен великий пожар, пламя от океана до океана, и клянусь, я утоплюсь в керосине, если позволено будет запалить тот обещанный огонь.

Впрочем, я отвлекся. В тот день я старался заняться полезным делом, как все тогдашние мальчишки, – мастерил ярмо для быка. Сестра выглянула из дома и крикнула: «Илай, ступай принеси матушке из холодной кладовки над родником все запасы масла и варенья».

Я поначалу сделал вид, что не слышу, потому как нечего ей командовать, а что до ее предполагаемого очарования, оно давно не действовало. Признаюсь, частенько я дьявольски ревновал ее к брату, к тому, как они, бывало, сидели рядышком и улыбались чему-то, им одним понятному. Вдобавок она меня невлюбила после того, как недавно я увел лошадь у ее главного поклонника, эльзасца по имени Хайберт. И неважно, что я вернул лошадь в лучшем состоянии, чем брал, порадовал животное, научил слушаться опытного наездника, Хайберт все равно ее бросил.

– Илай!

Будто на скотину упрямую орет. Жаль мне того бедолагу, который свяжется с ней навеки.

– Масло почти кончилось, – крикнул я в ответ. – Отец взбесится, если вернется, а масла нет.

И продолжил свое занятие. Здорово было сидеть в тени, а вокруг, миль на сорок, зеленеют холмы. А внизу речка да несколько маленьких водопадиков на ней.

Кроме ярма я решил выстрогать новое топорище для своего топора – как раз подыскал подходящую упругую ветку, получится мягче, чем нравилось отцу, а на конце еще приделаю полоску оленьего меха, чтоб не скользило.

– Ну-ка, поднимайся. – Сестра, в своем лучшем голубом домашнем платье, стояла прямо надо мной. – Тащи масло, Илай. Я не шучу.

Я посмотрел на нее снизу вверх, заметил свежий прыщик, который она попыталась чем-то замазать. Когда я принес масло и консервы, мать уже растопила печь и распахнула все окна, чтобы в доме было не так жарко.

– Илай, – окликнула она меня, – сходи к реке, налови рыбы, ладно? И хорошо бы фазана, если попадется.

– А индейцы? – спросил я.

– Ну, даже если поймашь, не тащи сюда. Не стоит обниматься с дьяволом раньше времени.

– А где наш Святой Мартин?

– Ежевику собирает.

Прихватив удочку, ягдташ и отцовский «ягербуш», я аккуратно спустился по крутому известковому склону. «Ягербуш» стрелял одноунцевыми пулями, имел двойной спусковой крючок и вообще считался одним из лучших ружей в приграничье. Но отцу он казался слишком громоздким, чтобы перезаряжать, сидя в седле. Братец было заявил на него права, но выяснилось, что отдача чересчур сильна для его поэтической натуры. Ружье было чуть укорочено, но меня все устраивало. Из него запросто можно было уложить хоть старейшего из племени Эфраимова или, если хотите, сшибить белку с ветки на любом расстоянии –

---

<sup>11</sup> «Я соберу вас в Иерусалим... и дохну на вас огнем негодования Моего, и расплавите среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавите и вы среди него» (Книга Пророка Иезекииля, гл. 22; 19, 21).

стреляешь специально мимо, а белка падает замертво от одного грохота, шкурка целехонька. Я был очень доволен «ягербушем».

Педерналес – речка мелкая и узкая, ярдов сто в ширину и всего несколько футов глубиной. По берегам росли старые кипарисы и сикаморы, а в самой реке полно водопадов и живописных заводей, где резвились угри. Как и большинство рек Техаса, для плавания в лодке она не приспособлена, что, по мне, даже хорошо – народу на реке поменьше.

Я нарыл червей на берегу, набрал чернильных орешков на поплавки и отыскал удобное местечко в тени кипариса. Выше по склону раскинула ветви шелковица, усыпанная ягодами, – их было столько, что никаким птицам не справиться. Сняв рубаху, я забрался на дерево и нарвал ягод, сколько мог, чтоб отнести матушке.

Потом занялся рыбалкой, но все время был настороже – дома-то мне снизу не видно было. Индейцы любили проехаться вдоль русла реки, а отец забрал единственную магазинную винтовку. Впрочем, оно и к лучшему, потому как я вынужден был внимательно смотреть по сторонам – капли поблескивают на камнях, следы скунса в грязи, цапля в дальней заводи. Даже рысь пряталась в ивняке – думала, никто ее не заметит.

Дальше по берегу в ореховой роще белки баловались с зелеными еще орехами – надкусывали их и швыряли на землю. Мне всегда было любопытно, почему белки так поступают, они ведь портят половину орехов, прежде чем те созреют. Надо бы преподать им урок. Беличья печень – лучшая наживка; будь сам Создатель рыбаком, он бы только ее и использовал. Но тяжелое ружье против пушистых хвостов – это чересчур. Жаль, что у меня не было с собой «кентукки» 36-го калибра. Я присмотрелся внимательнее к шелковице, которую набрал для матери. В общем, вскоре шелковица кончилась. Мама все равно больше любит ежевику. Шелковицу она считает чем-то вроде чая из сассафраса, дурной заменитель.

Просидев еще час с удочкой, я заметил на другом берегу стайку индеек и подстрелил одну. Начисто снес ей голову с семидесяти ярдов. Я в отличие от брата умел метко стрелять. Птица продолжала бешено хлопать крыльями в попытке взлететь, а кровь фонтаном била вверх. Выстрел, который мог бы остаться в истории.

Привалив удочку камнем, я прочистил ствол, отмерил порох и зарядил ружье. Потом побрел вброд через реку за своим трофеем.

Рядом с индейкой, лежавшей в луже крови, из песка торчал наконечник копья, дюйма четыре длиной. Я присел рядом и долго разглядывал его; две бороздки у основания, которые пытаются копировать нынешние мастера. Местный кремь другого цвета, от кремowego до коричневого, и это поведало мне кое-что еще – наконечник проделал долгий путь.

Когда я вернулся к своей удочке, та медленно плыла вниз по реке, а на крючке болтался здоровенный сом – такой случай выпадает один на миллион. Я боялся, что упущу рыбину, но сумел без труда вытащить ее на берег.

Странно это все, – задумался я. Сидя на берегу, я заметил нечто непонятное и в небе над головой. Приложил к глазу неплотно сжатый кулак и в эту самодельную подзорную трубу разглядел Венеру, заметную на небосклоне ясным днем. Очень дурной знак. Я подхватил индейку, сома, измазанную шелковицей рубашку и торопливо поволок все добро домой.

– Быстро ты, – удивилась мать. – Только одна рыбина?

Я протянул ей индейку.

– Мы услышали выстрел и заволновались, – сказала сестра.

– Я не уходил далеко от дома.

– Индейцы не тронут, – успокоила мама. – Солдаты теперь повсюду.

– Я не за себя боялся, а за тебя и Лиззи.

– О, Илай, – улыбнулась мама. – Мой маленький герой.

Она словно бы не заметила испорченной рубахи, и еще от нее пахло бренди, который мы хранили для важных гостей. И от сестры тоже несло бренди. Должно быть, ей ударило

в голову, потому что она нежно чмокнула меня в щеку. Я разозлился. Хотел напомнить им про Майлза Уоллеса, которого похитили около месяца назад. Но в отличие от бедняги Уоллеса, которого команчи скальпировали уже в нескольких милях от дома, я-то не был косоглазым уродом. Мне, может, даже хотелось иногда, чтобы они меня украли, – ведь индейцы только и делают, что ездят верхом да стреляют.

Еще раз проверив наш арсенал, я вышел из дома и вскарабкался в свой гамак, откуда видно было и реку, и дорогу, и вообще всю округу. «Ягербуш» прихватил с собой. Неплохо, конечно, подстрелить добычу, покачиваясь в гамаке, – вот такая жизнь была бы по мне, – но до сих пор мне это не удавалось. Сквозь заросли кизила у родника я видел, как брат собирает ежевику. Дул легкий ветерок, и было очень приятно нежиться в тени, вдыхая аппетитные запахи с матушкиной кухни. Братец, конечно, прихватил с собой ружье, но бросил его в стороне, дурацкая привычка. Отец сурово относился к таким вещам – коли берешь с собой оружие, держи его под рукой.

В тот день брату повезло, индейцев мы не видели. Ближе к закату я заметил, как что-то движется в камнях над рекой, прячется за стволом кедра, вновь выглядывает, но оказалось, что это просто волк. На таком расстоянии можно было принять его за койота, но койоты бегают поджав хвост, как брехливые псы, а волки гордо держат хвост прямо. У этого зверя хвост торчал прямо, и он был светлосерым, почти белым. Пришлось сползти с дерева, чтобы ветки не мешали, и пристроиться у края утеса. Я взял зверя на мушку, целясь чуть выше спины. Он остановился, вскинул голову, приюхиваясь, видать, к нашему обеду. Я взвел первый курок, потом мягко нажал на спуск. Волк взвился в воздух и тут же рухнул замертво. Отец использовал для пыжей промасленную оленью кожу, и наши пули летели дальше и точнее, чем те, что с хлопковыми пыжами, как у большинства жителей границы.

– Илай, это ты стрелял? – крикнула сестра.

– Это просто волк, – отозвался я. Подумал, что надо бы спуститься за шкурой – белый волк, никогда таких прежде не видел, – но решил не рисковать, все-таки уже смеркалось.

Ужин задержался допоздна, потому что готовили на этот раз все, что нашлось в кладовой. Зажгли свечи, штук семь или восемь, тоже невиданная роскошь. Мать с сестрой стряпали весь день напролет и подавали теперь одно блюдо за другим. Все мы понимали, что это вроде наказания для отца – за то, что бросил нас одних, ввязавшись в сумасбродную затею, но все помалкивали.

Мы с братом пили холодное молоко, а мать с сестрой прикончили целую бутылку белого вина, которую мы купили у немцев. Отец хранил это вино для особого случая. Ужин начался с белого хлеба, масла и вишневого джема, потом ели копченый окорок, сладкий картофель, жареную индейку, жареную рыбу, фаршированную диким чесноком, стейки, запеченные на углях, последние весенние сморчки, тоже зажаренные в масле, и теплый салат из амаранта и шпината, заправленный сливочным маслом с чесноком. В жизни не ел так много масла. На десерт было целых два пирога – с ежевикой и со сливой, которые сегодня набрал братец. В кладовой не осталось ничего, кроме сухарей и солонины. Если отцу хочется гарцевать в компании с Сифилитиком, заявила мать, пускай и питается, как Сифилитик.

Я чувствовал себя немножко виноватым из-за отца, но не мог удержаться и с удовольствием умял свою порцию. А вот мать совсем не смущалась и даже потребовала еще вина. После ужина всех сморило.

Я отнес остатки окорока в холодный погреб к роднику и присел поглядеть на звезды. Я сам придумал им названия: Козел, Гремучая Змея, Бегущий Человек, – а братец вечно совал мне Птолемея, в котором никакого толку. Дракон похож на змею, а вовсе не на дракона. Большая Медведица выглядит в точности как бегущий человек, никакого медведя там ни в жизнь не разглядеть. Но мой брат не выносил того, в чем была хоть толика здравого смысла, и все мои попытки переименовать созвездия провалились.

Я загнал лошадей в конюшню, запер ее изнутри, а сам выбрался через крышу. Если индейцы задумают их увести, это потребует времени. Лошади стояли спокойно – добрый знак, потому как индейцев они чуяли лучше, чем собаки.

Когда я вернулся в дом, мать с сестрой уже улеглись на родительской кровати, а брат устроился на койке сестры. Обычно-то мы с ним спали в своей комнате, но в этот раз я не стал возражать. Пристроив ружье, патронташ и башмаки рядом с кроватью, я задул последнюю свечу и забрался под одеяло к брату.

Около полуночи собаки затеяли свару. Все равно я спал вполуха и сразу подскочил к двери, немножко волнуясь, как бы мама или сестра не заметили, что там торчит у меня из-под ночной рубахи.

Но тут же забыл обо всем. Дюжина мужчин у забора, еще больше в тени у дороги и еще больше на скотном дворе. Раздался собачий визг, а потом самая маленькая наша собачонка, Пердида, метнулась в кусты, как раненый олень.

– Вставайте все, черт побери! – шепотом завопил я. – Мам, подымайся. Давайте, все, подъем.

Луна уже взошла, и было светло как днем. Индейцы вывели со двора трех лошадей. Любопытно, как они сумели пробраться в конюшню. Наш бульдог крутился у ног высокого воина, будто тот был его лучшим приятелем.

– Подвинься-ка. – Брат, мама и сестра выбрались из постели и стояли позади меня.

– Там полно индейцев.

– Наверное, это Задира Джо и его тонки, – предположил брат.

Я молча уступил ему наблюдательный пункт и пошел поворошить очаг, чтобы стало немного светлее. С тех пор как провозгласили республику, с индейцами не было проблем: американская армия постоянно присутствовала в Техасе, охраняя границы. Интересно, где эти вояки сейчас. Я подумал, что нужно зарядить все оружие, потом вспомнил, что уже сделал это. Вспомнился стишок: *ручка костяная, лезвие «Барлоу», лучше нет подарка другу дорогому*. Я знал, что будет дальше: индейцы начнут ломиться в дверь, мы их, разумеется, не впустим, тогда они попытаются двери выломать. А когда устанут или им надоест, просто запалят дом и перестреляют нас, когда мы начнем выскакивать наружу.

– Мартин? – нетерпеливо окликнула мать.

– Он прав. Их по меньшей мере пара дюжин.

– Тогда это, наверное, белые, – предположила сестра. – Банда конокрадов.

– Нет, это точно индейцы.

Я устроился с ружьем в углу, точно напротив двери. По стенам, в приглушенном красном свете, металась тень. Интересно, попаду ли я в ад. Мать с сестрой уселись на кровати, брат мерил шагами комнату. Мать гладила сестру по голове, приговаривая: «Ш-ш-ш, Лиззи, все будет хорошо». В полумраке их глаза казались пустыми впадинами, как будто грифы уже добрались до них. Я отвернулся.

– Твое ружье уже взведено, – сказал я брату. – И пистолеты тоже.

Он покачал головой.

– Если мы начнем стрелять, они, может, обойдутся только лошадьми.

Я подумал было, что он станет спорить, но он молча отошел в угол и взял ружье.

– Я уже взвел, – повторил я.

– Может, они подумают, что нас нет дома, – пролепетала сестра, с надеждой глядя на брата.

– Они видят, что у нас огонь в очаге горит, Лиззи.

Слышно было, как индейцы бряцают какими-то железками в сарае, тихо переговариваясь. Мама подтащила табуретку к двери и встала на нее, чтобы посмотреть в маленькую амбразуру наверху.

- Я вижу только семерых.
- Их не меньше тридцати, – буркнул я.
- Папа придет на помощь, – проговорила сестра. – Он узнает, что они здесь.
- Возможно, когда увидит пламя, – вздохнул брат.
- Они идут сюда.
- Слезь оттуда, мам.
- Тише, – испугалась сестра.

В дверь ударили, и мама едва не свалилась с табурета. *Salir, salir*<sup>12</sup>. Грохот в дверь. По-испански говорили почти все дикари, если они вообще говорили на каких-либо языках кроме родного. Дверь могла выдержать лишь несколько выстрелов, и я потянул маму подальше от входа.

*Tenemos hambre. Nos dan los alimentos*<sup>13</sup>.

- Это смешно, – сказал брат. – Кто в это поверит?

Наступила тишина, а потом мама обернулась к нам и произнесла специальным «учительским» голосом:

- Илай и Мартин, пожалуйста, положите ружья на пол.

Она начала отодвигать засов, и тут я понял, что все, что говорят про женщин, – правда. У них действительно нет здравого смысла, и им нельзя доверять.

- Не открывай дверь, мама!
- Держи ее, – бросил я Мартину. Но он не шелохнулся.

Я смотрел, как поднимается засов, и поудобнее перехватил ружье. Лунный свет хлынул в образовавшуюся щель, но мать ничего не заметила; она отодвигала засов, как будто впускала в дом старых друзей, как будто ждала этого момента со дня нашего появления на свет.

В газетах пишут, что матери на границе приберегают последние пули для своих детей, чтобы те не достались дикарям, но никто никогда не слышал о таких случаях. На самом деле все наоборот. Всем понятно, что я, например, в самом подходящем возрасте – индейцы обязательно сохраняют мне жизнь. Брат и сестра чуть постарше, но сестрица хорошенькая, а брат выглядит младше своих лет. А вот матери нашей почти сорок. И она прекрасно понимала, что с ней сделают.

Дверь распахнулась, двое мужчин оттолкнули мать с дороги. Третий остановился на пороге и, прищурившись, пытался рассмотреть, что происходит в полумраке комнаты.

Грянул мой выстрел, он взмахнул рукой и рухнул на спину. Индейцы бросились прочь, я крикнул брату, чтобы прикрыл дверь, но он не шевельнулся. Я сам кинулся закрывать ее, но мертвый индеец лежал прямо на пороге. Я ухватил его за ногу, пытаясь втащить внутрь, и тут он пнул меня прямо в челюсть.

Когда я пришел в себя, деревья качались в лунном свете, в ночи раздавались крики. Индейцы сгрудились по ту сторону двери; они возникали на пороге, стреляли и вновь отскакивали за угол. «Мартин, кажется, меня ранили», – послышался крик сестры. Брат сидел неподвижно. Я подумал, что его подстрелили. Стрельба на минуту стихла, потому что пороховой дым мешал прицелиться, и я успел выхватить ружье из рук брата, проверил, взведен ли курок, и направил ствол в сторону двери, но тут мать остановила меня.

---

<sup>12</sup> Выходить (*исп.*).

<sup>13</sup> Мы голодаем. У нас нет еды (*исп.*).

Потом я очутился на полу. Сначала показалось, что дом рухнул, но это был какой-то индеец. Я вцепился в его шею, но моя голова вновь стукнулась об пол. Очнулся я на улице, под деревьями.

Попытался было подняться, но меня сбили с ног, и еще, и еще. Чьи-то ноги, земля, опять ноги в мокасинах. Я вцепился зубами в эту ногу и получил очередной удар, а потом меня ухватили за волосы, будто собираясь вырвать их с корнем. Я ждал удара топором.

Приоткрыв глаза, увидел перед собой огромное красное лицо. От человека пахло луком и выгребной ямой, и он пригрозил мне ножом, без слов объяснив: или я веду себя тихо, или он отрежет мне голову. Потом он крепко связал мне руки.

Он не похож был на индейца. Аборигены, жившие рядом с белыми, были сухощавыми, маленькими и легкими. А этот здоровенный и грузный, с квадратной головой и широким носом; он больше походил на негра, чем на долговязого голодного индейца, и шел, выпятив грудь, как будто имел полное право грабить нас.

За воротами сгрудились штук двадцать лошадей, и столько же индейцев хохотали и перебрасывались шуточками. Никаких признаков матери, или сестры, или брата. Индейцы были голые до пояса и все раскрашены, точно сбежали из бродячего цирка, у одного лицо разрисовано как череп, у другого такой же череп намалеван на груди.

Несколько индейцев обшаривали дом, некоторые рылись в конюшне и сарае, но многие просто стояли в стороне, лениво привалившись к забору. Белые, которых я знал, после перестрелки обычно еще несколько часов нервничали, громко разговаривали, никак не могли успокоиться, а эти индейцы позевывали, потягивались, словно вернулись с мирной вечерней прогулки. Кроме, разве, того, в которого я стрелял. Он сидел под стеной дома, на губах у него пузырилась пена, а грудь окровавлена. Он, наверное, отскочил в сторону, когда курок щелкнул, – говорят, у дикарей рефлекс, как у животных. Его дружки заметили, как я на него смотрю, подскочили и заорали *таибону вукупатуи*<sup>14</sup>, а потом сильно ударили меня по голове.

Я надолго провалился в беспамятство и даже успел предстать перед неким человеком, который должен был судить меня за все мои грехи. Это оказался святой Петр, но почему-то похожий на нашего школьного учителя, который меня терпеть не мог, и я понял, что отправляюсь в ад.

А потом индейцы сгрудились вокруг чего-то, лежащего на земле. Белые ноги, извивавшиеся в воздухе, а между ними голая мужская задница и кожаные штаны. Я увидел, что это моя мать, и по тому, как двигался мужчина, как ритмично позвякивали колокольчики на его штанах, догадался, что он с ней делает. Потом он встал, поправил одежду, и на его место прыгнул следующий. Я приподнялся, но в ушах зазвенело, земля полетела мне навстречу, и я подумал, что на этот раз точно уже умер.

Прошло время, и я вновь услышал голоса. Неподалеку от забора заметил еще одну кучку индейцев и расслышал стоны сестры. Индейцы делали с ней то же, что и с матерью.

Мне казалось, что я просто сплю. Это сон. И все было прекрасно, пока я не очнулся окончательно под воинственные вопли и не увидел, что все еще лежу в нашем дворе. Мать, обнаженная, отползала подальше от индейцев; она добралась до порога дома и пыталась скрыться внутри. В комнате кто-то колотил по клавишам клавикордов, а за спиной у матери что-то раскачивалось, и я разглядел, что это стрела.

Индейцы, видать, решили, что ей нечего делать в доме, и принялись стрелять в нее из луков. Она продолжала ползти. Наконец один из индейцев подошел к ней, поставил ногу ей на спину, прижав к земле. Ухватил ее за волосы, сильно потянул, приподнимая голову, и вытащил свой длинный нож. С того момента как я пришел в себя, мать не издала ни звука,

---

<sup>14</sup> Бледнолицый убил нашего (ком.).

даже когда стрелы одна за другой вонзались в ее тело, но тут она закричала. И я увидел, как другой индеец приближается к ней с отцовским топором.

Я катался по земле, выл, но тут все во мне застыло. Я не смотрел на мать и не знаю, слышал что-нибудь или нет. Где же Мартин и Лиззи? Неподалеку на земле белело какое-то пятно, и еще одно, и я понял, что это Лиззи – лежит там же, где они ее бросили. Потом, когда нас выволакивали за ворота, я разглядел тело, с отрубленными грудями и разбросанными вокруг кишками. Я понимал, что это моя сестра, но она больше не выглядела как человек.

Я подполз к забору, где лежал мой брат. Он рыдал, потом затихал ненадолго, потом опять рыдал. А я не мог издать ни звука. Собравшись с силами, приподнялся глянуть на мать. Она лежала лицом вниз, вся утыканная стрелами. Индейцы бродили по двору туда-сюда. Брат молча следил за происходящим. Я начал задыхаться, закашлялся, потом меня вырвало. Когда я успокоился, брат сказал: «Я думал, ты умер. Я долго смотрел на тебя».

У меня словно клин застрял между глаз.

– Я сначала думал, отец вот-вот вернется, а теперь понимаю, что мы будем уже за много миль отсюда, прежде чем кто-то узнает, что произошло.

Юный индеец увидел, что мы разговариваем, и пригрозил ножом, но как только он отошел, Мартин сказал:

– Лиззи ранили в живот.

Я понимал, о чем он, и вспомнил, как он сидел там, когда мать отодвигала засов, спокойно сидел, пока я пытался оттащить индейца от порога, сидел с заряженным ружьем, когда индейцы стреляли в нас. Но у меня слишком болела голова, чтобы что-то говорить. В глазах опять потемнело.

– Ты видел, что они сделали с ней и с мамой?

– Краем глаза, – прохрипел я.

Команчи вытаскивали из дома наши вещи, швыряя в кучу посреди двора все, что им было не нужно. Кто-то рубил топором клавикуорды. Я надеялся, что индейцы добьют нас или что я опять потеряю сознание. Брат не отводил взгляда от тела сестры. Индейцы выносили стопки книг, и я решил было, что для костра, но они почему-то укладывали книги в седельные сумы. Потом я узнал, что они, оказывается, используют бумагу для своих щитов, плотно набивая ее между двумя слоями бизоньей кожи. Такой щит не всякая пуля пробьет.

Индейцы выволокли во двор перины, вспороли их, пух и перья летели в воздухе, как снежные хлопья. И медленно засыпали тело матери. Нас начали кусать муравьи, но было все равно; брат все так же не отводил взгляда от сестры.

– Не смотри.

– Я так хочу.

Жар привел меня в чувство. В огромном костре полыхало все, что не пригодилось индейцам, – в основном мебель. Ветка магонии впилась мне в бок. Огонь разгорался все сильнее, в его пламени я заметил наших псов, убитых, и подумал, не бросят ли в костер и нас. Говорили же, что индейцы привязывают людей к фургонам и поджигают. Я оглядел себя, прикидывая, что можно было бы сделать, но, по-честному, было плевать.

– Я могу немножко пошевелить руками, – сообщил я брату.

– Зачем?

– Мы должны быть готовы.

Он промолчал.

– Пить хочешь?

– Конечно, хочу.

Огонь уже бушевал всюду; мох, которым поросли ветви над нами, задымился. Копоть от сожженного имущества оседала на наших лицах и волосах, в темноте металась искры.

Брат весь был засыпан пеплом, как труп давным-давно умершего человека. Я вспомнил лица матери и сестры, когда они сидели рядышком на кровати.

При свете костра индейцы рассматривали отцовские инструменты, а я запоминал все, что они взяли: подковы, молотки, гвозди, обода для бочек, пилу, топор и колун, револьвер, тесло и рубанок; удила, уздечки, седла и стремяна; ружье моего брата. Мой «ягербуш» для них оказался слишком тяжелым, и они разломали его, шмякнув об угол дома. Они забрали наши ножи, напильники, вилы и шилья, сверла, пули, формы для отливки пуль, бочонки с порохом, капсюли, волосяные веревки. Наши три молочные коровы прибрели на шум, индейцы пристрелили их из луков. Они были в прекрасном настроении. Горящие поленья они вытаскивали из огня и швыряли внутрь дома, увязывали в узлы последнее барахло, подтягивали подпруги, готовясь уезжать. Из дверей и окон дома повалил дым, а потом кто-то развязал мне руки и рывком поставил на ноги.

Нашу одежду швырнули в костер вместе со всем остальным, а нас нагишом погнали за ворота, прямо в поле, к большой *ремуде*<sup>15</sup> из индейских пони вперемешку с крупными американскими лошадьми. Индейцы, не обращая на нас внимания, о чем-то лопотали между собой – все *умс* да *угс*, это вообще не язык. Было там, конечно, несколько слов, похожих на испанские, да еще одно слово, которое они нам постоянно повторяли, – *таибо*, *таибо* то, *таибо* это. Еще не рассвело, мы были босиком, и я старался не наступить на колючку и чтобы мне не отдавили ногу переминавшиеся в темноте лошади. Все-таки делать хоть что-то было легче, но потом я напомнил себе, что это все равно не имеет смысла.

Нас взгромоздили на лошадей и крепко привязали к их спинам, руки связали впереди. Могло быть хуже, иногда индейцы возили пленных поперек седла, как мешки с мукой. Мой пони все время дергался, ему не нравилось, как я пахну.

Лошади фыркали, топали, индейцы перекрикивались в темноте, и тут мой братец разрыдался, а я жутко разозлился, что он ревет перед индейцами. А потом я и сам заревел. Проехали наше нижнее пастбище – три месяца мы выкорчевывали здесь пни и кустарник – и ореховую рощу, которую я присмотрел для себя. Я подумал о людях, которые выжили нас из Бастропа, называли мою мать черномазой и отсудили наш участок. Когда я убью всех индейцев, вернусь и убью всех новых поселенцев; я сожгу их город до основания. Сначала я надеялся, что появится отец, а потом мне стало стыдно за эти надежды.

Мы перешли на рысь, и высокая трава хлестала по голым ногам. Лошади вытянулись в цепочку, индейцы один за другим исчезали в темноте леса, а потом и мой пони скрылся во мраке.

Грейп-Крик мы пересекли в единственном месте, где не надо было прыгать, перебрались через болотце, о котором я и не подозревал, а у подножия Кедровой горы перешли на галоп. Белыми пятнами по склону рассыпались наши коровы. Мы двигались по дну длинной лощины, то выезжая на открытое пространство, то скрываясь в тени деревьев, из тьмы на свет и обратно во тьму. Индейцы, полагаясь на чутье лошадей, пустили их вперед. Я пристраивался за братом. Всадники, скакавшие позади нас, ловко объезжали все препятствия, будто сама темнота ночи вела их.

Мой пони ни разу не споткнулся и не запыхался, несмотря на темноту и кочки под ногами. Мы приближались к подножию Горбатой горы, границе известных мне земель. Можно было свернуть в лес и попробовать ускакать, но я сомневался, что справлюсь, а уж у моего брата точно не было шансов уцелеть в одиночку. Выше по склону я заметил небольшой табун мустангов, которых можно было бы поймать и объездить. Они молча смотрели, как мы скачем мимо.

<sup>15</sup> Табун лошадей (*исп.*).

Через пару часов сменили лошадей. Ноги и ягодицы у меня были в ссадинах, а лицо, грудь и руки исхлестаны ветками. Брату досталось еще больше, у него все тело было покрыто коркой из крови и грязи. Но нас пристроили верхом, как прежде, и мы помчались дальше в том же сумасшедшем темпе. Появилась река, должно быть Льяно. Невероятно, что мы забрались уже так далеко.

– Это то, о чем я думаю? – простонал брат.

Я молча кивнул.

– Нам конец, – продолжал он. – Целый день пути.

Потом мы уткнулись еще в одну реку, на этот раз, наверное, Колорадо, после чего опять меняли лошадей. Судя по запаху, мой брат обделался. Когда меня поставили на землю, я присел, вытянув связанные руки перед собой, и помочился, прямо между лошадей. Ноги сводило судорогой, я едва держался на корточках. Какой-то индеец пнул меня, но я не собирался ехать дальше в собственных испражнениях, поэтому не реагировал, пока не закончил свои дела. Потом они просто подняли меня за волосы. Казалось, ниже пояса у меня уже не осталось ни клочка кожи. Меня пристроили на пони: индейцы не доверяли лошадям белых.

Перед рассветом мы остановились в третий раз, в глубоком каньоне на берегу реки. Кажется, это была все та же Колорадо, но никакая армия сюда не добралась бы. Солнце еще не взошло, но уже можно было различать цвета. Индейцы чего-то ждали. Они напились из реки и теперь потягивались, разминая затекшие спины, перекладывали что-то в седельных сумках. Я впервые увидел их при свете.

У них были луки, колчаны и копья, короткоствольные мушкеты, томагавки и большие ножи, лица их были размалеваны стрелками и дурацкими солнышками, кожа совсем гладкая, даже брови сбриты. А прически как у голландских девочек – две длинные косы по сторонам, но в них вплетены медные, серебряные и разноцветные бусины.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал брат.

– Они похожи на шлюх, – буркнул я, хотя на самом деле так не думал.

– Скорее на актеров из театра. – И добавил: – Не втягивай нас в новые неприятности.

Потом коренастый воин подошел и, подталкивая копьем, отогнал нас подальше друг от друга. На спине у него остались засохшие кровавые отпечатки ладоней, а на штанах впереди большое пятно. То, что я принял за куски бычьей кожи, свисавшие с его пояса, оказались человеческими скальпами. Я отвернулся и уставился на реку.

Впереди виднелась небольшая площадка, откуда, наверное, открывался неплохой обзор; позади индейцы прогуливали лошадей по траве вдоль реки. Они о чем-то поспорили, а потом большинство отправилось к той обзорной площадке. Один из них вел в поводу лошадь, к которой было приторочено тело воина, в которого я стрелял. Я не знал, что он умер, по спине пробежал холодок. Брат побрел к реке. Двое из индейцев, охранявших нас, приподняли было топоры, но, когда я открыл глаза, брат все еще оставался целехонек – он плескался в реке, смывая с себя собственное дерьмо. Индейцы разглядывали его бледную щуплую фигуру, чахлую грудь, впалую от чтения книжек.

Отмывшись, он вернулся на берег и уселся рядом со мной.

– Надеюсь, чистая задница стоила того, что тебя чуть не пристрелили.

Он ободряюще похлопал меня по ноге.

– Я хочу, чтобы ты знал, что случилось прошлой ночью.

Я не хотел знать больше того, что уже знал, но не смог возразить ему и просто молчал.

– Мама, конечно, такого не ждала, но, думаю, они не собирались убивать Лиззи. Когда они увидели, что она ранена, очень внимательно осмотрели рану, даже соорудили что-то вроде факела, чтобы их старший оценил положение. Должно быть, дело было совсем плохо,

потому что они отошли в сторону и о чем-то совещались, а потом вернулись, раздели ее донага и изнасиловали. – Он смотрел вверх по течению реки, где индейцы взбирались по стене каньона. – Лиззи, Лиззи, Лиззи.

– Она теперь в лучшем мире.

Он пожал плечами:

– Она теперь нигде.

– Но есть еще папа, – напомнил я.

Он лишь фыркнул в ответ.

– Как только папаша узнает, что случилось, он первым делом рванет к своей любовнице в Остине.

– Это подло. Даже для тебя.

– Люди напрасно говорить не станут, Илай. Пора бы тебе и это знать.

Индейцы покосились в нашу сторону. Я надеялся, что они запретят нам болтать, но им и дела не было.

– Мама знала, что сможет тебя спасти, – продолжал он. – Лиззи и меня... вряд ли. Но ты – совсем другое дело.

Я сделал вид, что не понимаю его, и огляделся вокруг. Стены каньона возвышались на несколько сотен футов, из трещин торчали кусты барбариса и соцветия медвежьей травы. Узловатый старый кедр вцепился в склон, он походил на дымовую трубу, в ветвях скрывалось орлиное гнездо. Несколько высоких кипарисов равнодушно стояли над рекой, им и полтысячи лет нипочем.

Солнце коснулось верхнего края каньона, и тут раздались скорбные вопли и пение. Потом грянул выстрел и погребальное шествие двинулось обратно к реке. Вернувшись, индейцы принялись колотить и пинать нас, пока брат опять не обгадился.

– Я не выдержу, – простонал он.

– Держись.

– Не могу.

Некоторые из индейцев считали, что нас надо отвести к могиле убитого воина и пристрелить там, вместе с его лошадей, но главный, тот, кто вытащил меня из дома, был против. *Набитеку текванивати Тошавей*<sup>16</sup>, говорили они. Братец уже начинал понимать отдельные слова языка команчей; Тошавей звали их вождя. Его уговаривали, предлагали, требовали, но Тошавей не уступал. Он видел, что я наблюдаю за ним, но обращал на это внимания не больше, чем на собаку.

Брат философски закатил глаза, и я сразу занервничал.

– Знаешь, – проговорил он, – я все время надеялся. Надеялся, что как только взойдет солнце и они разглядят нас получше, то сразу поймут, что совершили чудовищную ошибку, что мы такие же люди, как они, – или, по крайней мере, поймут, что мы тоже люди, но сейчас надеюсь, что это вовсе не так.

Я молчал.

– До меня дошло, что именно сходство, которое должно бы нас спасти, нас и погубит. Мы, конечно, не властны над судьбой, но и они, в конце концов, тоже, и именно поэтому они нас убьют. Чтобы хоть на время спастись от собственных ужасающих мыслей.

– Прекрати, – взмолился я. – Перестань болтать.

– Да им все равно, – возразил он. – Им безразлично, что мы там лопочем.

Я понимал, что он прав, но тут индейцы прекратили свой спор и те, кто настаивал на нашем убийстве, подошли и вновь начали нас избивать.

---

<sup>16</sup> Храбрый Тошавей готов сражаться (ком.).

Когда они закончили, брат лежал в луже между камней, под странным углом повернув голову и глядя прямо в небеса. Я захлебывался кровью, меня рвало. Стены каньона покачивались, в глазах все плыло. Хорошо бы, чтобы они нас прикончили. Я заметил волка, выглядывавшего из-за края обрыва, но моргнул, и зверь пропал. Я вспомнил того белого волка, что подстрелил накануне, это был дурной знак, потом вспомнил про мать и сестру и подумал, добрались ли до них уже дикие звери. Я громко завыл, зарыдал и тут же получил очередную затрещину.

Мартин словно похудел фунтов на двадцать; колени, локти, подбородок кровоточили, он весь был в грязи и песке. Индейцы седлали свежих лошадей. Я умирал от голода и, прежде чем меня затолкали на лошадь, успел вдоволь напиться из реки.

– Тебе нужно попить, – сказал я брату.

Он только помотал головой и продолжал лежать, прикрывая ладонями свои причиндалы. Индейцы рывком поставили нас на ноги.

– В следующий раз хотя бы, – настаивал я.

– Я думал, как замечательно, что мне никогда больше не придется подняться. А оказалось, что меня не убили. Плохо.

– Могло быть хуже.

Он только пожал плечами.

Мы мчались все так же стремительно, и даже если индейцы устали, они не подавали виду, как не подавали виду, что, возможно, проголодались. Они были настороже, но спокойны. Время от времени я оглядывался на ремуду, скакавшую следом за нами по каньону. А брат не умолкал ни на минуту.

– Знаешь, я все время смотрел на маму и Лиззи, – все никак не мог он остановиться. – Я все думал, где у человека может быть душа, в сердце или, возможно, в костях, и представлял, что она вылетит, если тело разрезать. Но их же изрезали в куски, а я не заметил, чтобы что-то вылетело наружу. Это точно, я бы не прозевал такое.

Я пытался пропускать все мимо ушей.

Потом он спросил:

– Ты можешь представить белого, даже тысячу белых, так легко и безопасно скачущих по индейским территориям?

– Нет.

– Забавно, все называют их дикарями, варварами, красными дьяволами, но теперь, когда мы рассмотрели их так близко, думаю, все ровно наоборот. Они ведут себя, как боги. В смысле, как древние герои или полубоги, поскольку, как ты продемонстрировал, пускай и не без ущерба для себя, эти индейцы определенно смертны.

– Умоляю, заткнись.

– Заставляет задуматься о проблеме негров, верно?

К полудню мы выбрались из каньона. Впереди расстилалась холмистая прерия, усеянная астрами, примулами, чертополохом и красными маками. Стайка куропаток порхнула в кусты. Прерия тянулась до горизонта; вдали паслись антилопы, олени, даже несколько отбившихся от стада бизонов. Индейцы чуть помедлили, оглядываясь, и мы двинулись дальше.

От солнца прикрываться было нечем, и к полудню от меня пахло уже горелой кожей, я периодически проваливался в забытие. Мы ехали в густой траве, через известняковые овраги, ненадолго скрывались в тени деревьев по берегам ручьев – но ни разу так и не остановились напиться – и вновь оказывались на солнцепеке.

Наконец команчи придержали лошадей, и после короткой перебранки нас с братом отвели к ручью, который мы только что преодолели. Грубо сдернули на землю, привязали спинами друг к другу и бросили в тень. Мальчишка-подросток остался нас караулить.

– Рейнджеры?

– Не похоже, что они сильно встревожены.

Очень странно было разговаривать с братом, не видя его лица.

– Может, это отец с остальными.

– Тогда они были бы позади нас, – заметил брат.

Поразмыслив, я решил, что он прав, и окликнул нашего сторожа, показав взглядом на дикий виноград по берегу ручья.

Он отрицательно качнул головой. *Utca aume*<sup>17</sup>. И уточнил: *utca keta kwasene*<sup>18</sup>. Но поскольку я все равно не понял, добавил по-испански: *no en sazon*<sup>19</sup>.

– Он говорит, еще зеленый.

– Это я понял.

Я так проголодался, что мне было безразлично, каков этот виноград на вкус, и я настаивал. Индеец срезал гроздь, швырнул мне на колени и тут же тщательно сполоснул руки в ручье. Ягоды оказались такими горькими, что меня едва не вывернуло. Но хотя бы рот смочить, губы у меня запеклись и зудели.

– Нормальный, – попытался я подбодрить брата.

– Для выделки кожи, возможно.

– Тебе нужно поесть, – убеждал я.

– Ты не соображаешь, что делаешь, – возразил он.

Я все же съел еще немного. Рот как будто наполнился кипятком.

– Давай рванемся к ручью и просто упадем в него, – предложил я.

Так мы и поступили. Брат, такой же обожженный, как и я, уронил голову в воду, но не сделал ни плотка. От злости мне захотелось поднять муть со дна, но я пил и пил, не в силах остановиться. Индеец молча наблюдал за нами. Наконец мы смогли оторваться от воды и сесть. Моя лихорадка, кажется, немного спала, я сумел вытянуть ноги.

– Как тебя зовут? – окликнул я нашего сторожа. – *Como te llamas?*

Он долго молчал, затем выговорил: «Неекару». Нервно оглянулся и отошел подальше, будто выдал страшную тайну. Потом он улегся на живот выше по течению ручья и стал жадно хватать ртом воду. Так я впервые увидел, как индеец пьет больше, чем несколько скупых глотков. Поднявшись, он поправил свои косы и одернул штаны.

– Интересно, а может, они мужеложцы? – задумчиво проговорил брат.

– Сомневаюсь.

– Спартанцы же были.

– А кто такие спартанцы? – удивился я.

Он начал было объяснять, но тут вдалеке грохнуло несколько выстрелов, следом беспорядочный ответный залп и снова одиночные выстрелы. Наступила тишина, я догадался, что индейцы стреляют из луков. Кому-то не повезло.

На помощь нашему сторожу примчался еще один подросток, нас опять привязали к лошадиным спинам и куда-то повели. Преодолев каменистое плато, мы спустились в прерию, поросшие шпорником и мальвой. На фоне голубого неба, белоснежных облаков и буйно цветущих трав чернело пятно полусгоревшего фургона.

---

<sup>17</sup> Плохой (ком.).

<sup>18</sup> Незрелый (ком.).

<sup>19</sup> Не созрел (исп.).

Индейцы толпились вокруг пары других фургонов, а третий, перед которым застыли ничего не понимающие мулы, валялся, перевернутый, чуть дальше. Кто-то кричал.

– Я не хочу этого видеть, – сказал Мартин.

На обочине дороги что-то белело; светловолосый мальчишка в разорванной рубаше. Между глаз его торчала стрела.

Из фургонов капала кровь, словно внутри пролились целые бочки этой крови. Четверо или пятеро мертвых техасцев лежали прямо посреди дороги, остальные, скорчившись как младенцы, валялись позади фургонов. Индейцы, невидимые за высокой травой и зарослями мальвы, что-то делали с последним оставшимся в живых белым, тот тоненько и страшно визжал, а индейцы с хохотом его передразнивали.

За исключением двоих, занятых с выжившим погонщиком, индейцы не теряли времени даром. Поводья мулов были перерезаны, но животные продолжали стоять, печально повесив головы, как будто чувствуя свою вину. Мертвый крапчатый пони лежал в канаве, хозяин стягивал с него седло. Еще один индейский пони, чалый красавец, пока стоял, но розовая пена пузырилась в дыре на его груди. Хозяин снял с него седло, попону и уздечку, аккуратно уложил на землю. А потом, нежно обнимая и целуя потную шею лошади, добил животное точным выстрелом в ухо.

Из фургонов вытащили все барахло вместе еще с двумя мертвыми телами, мы их раньше не заметили. Стояла жара, красная пыль покрывала цветы вдоль дороги. Карманы покойников обыскали, с тех, кто еще не был скальпирован, сняли скальпы; последний из живых затих. Один из индейцев был перевязан куском ткани, почти на всех щитах виднелись свежие следы от пуль, а высокий воин каранкава чистил пучком травы свое окровавленное копье. Остальные рылись в вещах, вспарывали мешки с мукой и рассыпали по земле. Бочонок с виски разрубили томагавками, а маленькие бочонки с порохом приторочили к седлам вместе с какими-то ящичками, очень тяжелыми на вид. С собой забрали ножи и одеяла, табак, формы для отливки пуль, пару топоров, ручную пилу, рулон ситца и несколько револьверов. Проверив затворы и спусковые механизмы ружей, взяли те, что были исправны. Из-за скальпов возникла короткая перебранка. Затем отыскали пару сливовых пирогов и тут же поделили их между собой, разрезая окровавленными ножами.

Мальчишки подбирали стрелы в траве, мулов подогнали ближе к остальным лошадям, потом наскоро осмотрели окрестности, проверяя, не осталось ли еще чего-нибудь или кого-нибудь. Нашелся еще один полезный кусок тряпки. Потом все оружие перезарядили, стрелы уложили в колчаны, затянули подпруги, прополоскали рты. Волы протестующе промычали в последний раз, когда им перерезали горло; кровь, заливавшая дорогу, к тому моменту уже почернела, а разбросанные вокруг тела укрыла пыль. Казалось, они лежат здесь вечно.

Индейцы разделились на три группы и оставили множество следов, ведущих в сторону обжитых мест, – то есть ровно в обратную. Все были в прекрасном настроении. Один из воинов подскакал ко мне и весело прилепнул мне на голову свежеснятый скальп с длинными седыми волосами. Сверху нахлобучил окровавленную мужскую шляпу. Индейцев это страшно позабавило. Мы продолжали скакать в густой траве на северо-запад, мимо редких дубовых рощ, мимо мескитовых деревьев с их дрожащими листочками и юкки в пышном белом цветении.

Спустя несколько часов воин решил, что не стоит пачкать ценный трофей, снял его с моей головы, приторочил к своему поясу, а шляпу зашвырнул в кусты. Скальп и шляпа защищали от солнца, и я просил оставить шляпу, но мы мчались не задерживаясь. К тому времени нас нагнали остальные.

Сделав привал для смены лошадей, индейцы перекусили вяленным мясом, найденным в ограбленных фургонах. Нам с братом тоже предложили несколько кусочков. Жара не ослабевала, но индейцы, похоже, совсем не хотели пить. У меня же настолько пересохло все

внутри, что, когда один из них сунул мне табак, я не смог даже откусить. Брату табаку не предлагали. Он стоял широко расставив ноги и выглядел очень жалко.

К закату горло у меня пересохло настолько, что я боялся задохнуться. И напоминал себе не забыть при случае сунуть камешек в рот, чтобы пососать, но потом вспомнил про родник около нашего дома, как здорово было сидеть там, слушать журчание воды и глазеть на реку. Сразу стало легче.

Стемнело, мы остановились у какой-то грязной лужи, индейцы нарвали несколько охапок травы, набросали ее поверх грязи, потом по очереди, прикивая губами, сделали по паре глотков. Мы с братом упали лицами в мокрую траву и напились до отвала. На вкус вода отдавала лягушками и пахла так, словно в ней валялись животные, но нам было безразлично. Напившись, Мартин заплакал, индейцы тут же жестоко пнули его в живот и приставили нож к горлу. *Вейуна 'ните*, затихни. *Нихне 'аите*, заткнись.

Они что-то задумали. Сменив лошадей, куда-то исчезли, оставив нас с ремудой.

– Мы проскакали, наверное, сто миль. Добрались, поди, до Сан-Сабы.

– Как думаешь, они разрешат мне еще попить?

– Конечно, – успокоил я брата.

Он опять уткнулся лицом в лужу. Я тоже попытался, но запах был совершенно невыносим. А Мартин все пил и пил. Сидеть было больно даже в мягкой грязи. Пройдет, должно быть, несколько недель, прежде чем раны заживут. Мы прижались теснее друг к другу. Я почувствовал дурной запах и понял, что брат опять обгадился.

– Не могу сдержаться, – извинился он.

– Все нормально.

– Впрочем, это неважно.

– Мы просто должны терпеть, это не так уж сложно.

– А что потом? Что будет, когда мы доберемся туда, куда они нас волокут?

Я промолчал.

– Не хочу этого знать, – заявил он.

Я попытался его успокоить:

– Но были же Джон Таннер, Чарлз Джонстон<sup>20</sup>, ты сам читал все эти книжки.

– Я не из тех, кто может прожить на древесной коре и крыжовнике...

– Зато станешь легендой. Поедешь в Бостон и расскажешь своему приятелю Эмерсону, что ты настоящий мужчина, а не какой-нибудь там педерастичный поэт.

Он промолчал.

– Ты должен постараться, – продолжал убеждать я. – Ты рискуешь своим скальпом всякий раз, когда раздражаешь их.

– Я делаю все что могу.

– Это неправда.

– Что ж, я рад, что ты так хорошо все понимаешь.

И он вновь разрыдался. А потом просто захрапел. Я ужасно разозлился, потому что он вел себя как простой лентяй. Нас кормили наравне со всеми, и верхом мы скакали не дольше, чем сами индейцы; нам двоим досталось гораздо больше воды, чем им всем вместе, и еще неизвестно, как давно они в пути. Существует правило, которое мой брат не хотел признавать: если один человек может это сделать, значит, можешь и ты. Та к всегда говорил отец.

Разбудили нас пощечинами, в кромешной тьме пристроили верхом, привязали. Далеко впереди мерцал яркий огонек, я догадался, что это горящая ферма. Удивительно, что белые забрались так далеко, но земли тут такие богатые, что я понимал, почему они рискнули.

---

<sup>20</sup> Известная история похищения индейцами группы молодых людей в 1790 г. Записанный братом Чарлза рассказ, своеобразная энциклопедия индейской жизни, был опубликован в 1827 году и быстро стал бестселлером.

Подскакали несколько воинов, они, похоже, были довольны, что мальчишки притащили нас сюда.

В темноте я разглядел, что наша *ремуда* пополнилась примерно дюжиной лошадей. И еще двумя пленниками. Судя по плачу, это были женщины, и кажется, немки, или, как мы их тогда называли, голландки.

К восходу мы проскакали еще полсотни миль, дважды сменив лошадей. Немки ревели всю ночь. Когда рассвело, мы поднялись на *месу*<sup>21</sup> оглядеть окрестности. Впереди открывались огромные пространства – холмы, холмы до горизонта.

Немки были голыми, как и мы. Одной лет семнадцать-восемнадцать, вторая чуть старше, и обе, несмотря на покрывавшую их кровь и грязь, в расцвете своей женской красоты. Чем дальше я на них смотрел, тем больше ненавидел и надеялся, что индейцы еще будут измываться над ними, а я смогу поглазеть.

– Ненавижу этих голландок, – сказал брат. – Надеюсь, индейцы отымеют их как следует.

– Я тоже.

– Смотрю, ты неплохо держишься.

– Потому что я не сваливаюсь с лошади.

За ночь мы дважды останавливались, и индейцы всякий раз затягивали потуже ремни, державшие Мартина.

– Я пытался вцепиться ногами, но получается плохо.

– Уверен, маме приятно было бы это услышать.

– Ты станешь отличным маленьким индейцем, Илай. Жаль, что я этого не увижу.

Отвечать я не стал.

– Ты же понимаешь, я не стрелял, потому что боялся за маму и Лиззи.

– Ты просто окоченел от страха.

– Они все равно убили бы маму, это ясно, но Лиззи забрали бы вместе с нами. Но она была ранена, только поэтому...

– Заткнись, – не выдержал я.

– Ты не должен был видеть, что они с ней делали.

Он выглядел так же, как всегда: чуть косящие глаза, тонкие губы. Это человек, которого я знал давным-давно.

Чуть погодя он попросил прощения.

Индейцы делили вяленое мясо, отобранное у поселенцев. Одна из немок спросила, не знаю ли я, куда нас везут. Я сделал вид, что не понимаю. Она сообразила, что с Мартином лучше не заговаривать.

На следующий день пространство вокруг нас словно бы вытянулось в длину. Мы двигались по каньону миль в десять шириной, стены из красного камня вздымались на тысячу футов. Из деревьев здесь росли только вязы и тополя, а один раз я заметил драцену, торчащую из песка, – точную копию той, что росла у нашего дома. В каждом ручье попадались удивительные окаменелости: моллюски размером с колесо телеги, рога и кости громадных созданий, гораздо большего размера, чем у любых ныне живущих животных.

Тошавей сказал мне по-испански, что в конце каньона полно бизонов. Он восхищался всем вокруг. С ветвей кедров и мескитовых деревьев свисали длинные пучки черной шерсти: бизоны прятались здесь от зноя.

Индейцы, кажется, вообще не нуждались ни в отдыхе, ни в еде, но постепенно безумная скачка все же замедлилась. Рот мой наполнился слюной. В ручьях, мимо которых мы

---

<sup>21</sup> Холм с плоской вершиной, столовая гора от испанского *mesa* (стол).

скакали, плескалась рыба – лови сколько хочешь: сом, угорь, сарган, большеротый буффало. Оленям и антилопам я потерял счет. Коричневый гризли – огромный, я в жизни такого не видел – нежился на солнышке. Прозрачные родники били из скал, образуя озерца у подножия.

Вечером мы устроили первый настоящий привал, я уснул прямо на камнях, обнимая брата. Кто-то накрыл нас сверху бизоньей шкурой, я приоткрыл глаза – Тошавей присел рядом на корточки. Я уже узнавал его запах.

– Завтра мы зажжем костер, – сказал он.

Утром мы проезжали мимо холмов, на каменных склонах которых были изображены шаманы, сражающиеся воины с копьями, щитами, *tutu*<sup>22</sup>.

– Ты понял, что они собираются разлучить нас? – шепнул Мартин.

Я недоуменно обернулся.

– Эти парни, они из разных племен.

– Откуда ты знаешь?

– Твой хозяин – котсотека, а мой – ямпарика.

– Мой хозяин – Тошавей.

– Это его имя. Но он из племени котсотека<sup>23</sup>. А моего зовут Урват. Они говорили, что до земель Урвата долго ехать, а тот парень, что присматривает за тобой, вроде бы недалеко от своего дома.

– Они нам не хозяева, – возразил я.

– Ты прав. Не пойму, и с чего это мне пришло в голову.

– А кто такие пенатека?

– У пенатека сейчас какая-то эпидемия, что ли. В общем, с ними случилась какая-то беда. Короче говоря, ни одного пенатека среди них нет.

Несмотря на обещание Тошавей, следующая ночевка тоже оказалась холодной. Но зато утром мы выбрались из длинного каньона на равнину. Ни леса, ни зарослей кустарника, отмечающих русла рек, – ничего, кроме травы и неба. При виде этой картины я почувствовал, как в животе у меня все сжалось. Я понял, где мы находимся. Льяно-Эстакадо. Белое пятно на всех картах.

Мы ехали и ехали, а ничего вокруг не менялось. Мне опять стало дурно. Не знаю, какое расстояние мы преодолели к концу дня – десять дюймов или десять миль, в голове у меня было совершенно пусто. Брат все время засыпал и падал с лошади, так что индейцам приходилось останавливаться, колотить его и заново привязывать.

Лагерь разбили на берегу ручья, русло которого утопало настолько глубоко, что заметить его можно было, лишь зная о его существовании. Здесь разожгли первый за все время костер. В отсутствие деревьев, отражающих свет, огонь был незаметен даже вблизи. Индейцы добыли пару антилоп, освежевали и все такое, и Тошавей принес нам несколько ломтей дымящегося полусырого мяса. У брата не было сил даже поесть. Я разрывал мясо на маленькие кусочки и вкладывал ему в рот.

А потом взобрался повыше над ручьем, чтобы оглядеться. Со всех сторон нас окружало звездное небо, индейцы выставили дозорных, высматривающих другие костры. На меня они не обращали внимания, и я вернулся к своей подстилке.

Почти целый час неподалеку рычала пума, и волчий вой разносился над долиной. Брат заплакал во сне; я хотел было разбудить его, но передумал. Никакой сон не мог быть хуже нашей яви.

---

<sup>22</sup> Традиционное переносное жилище кочевых индейцев Великих равнин.

<sup>23</sup> Котсотека (едоки бизонов) – одно из подплемен команчи.

Наутро нас не стали связывать. Бежать было некуда.

Брат вроде бы хорошо поел и проспал не меньше шести часов, но чувствовал себя все равно паршиво. А вот индейцы хохотали, гарцевали на отдохнувших лошадях, весело дурачились, перебрасывались шуточками. По пути я уснул и очнулся уже на траве. Меня вновь привязали, наградив парой оплеух, но всерьез уже не били. Тошавей подскакал ближе и дал мне напиток. Потом разжевал немного табаку и втер кашицу мне в глаза. Но все равно остаток дня я провел в полузабытьи. Мне чудилось, что там, далеко впереди, уже виднеется край земли, но, добравшись до него, мы так и рухнем прямо в бездну.

Около полудня индейцы заметили небольшое стадо бизонов. Обсудив что-то между собой, они стащили нас наземь и подвели к одному из телят. Ему вспороли брюхо, вынули внутренности. Тошавей разрезал желудок и протянул мне пригоршню свернувшегося молока. Другой индеец сунул моего брата головой прямо в желудок теленка, но Мартин стиснул губы и зажмурил глаза. Тогда попытку повторили со мной. Я попробовал проглотить молоко, но меня тут же вырвало.

Это повторялось несколько раз. Брат упирался, а я пробовал, но меня тошнило. В конце концов индейцы сдались и выгребли себе все молоко из телячьего желудка. Потом пришла очередь печени. Брат отказывался даже прикоснуться, но я, увидев, как смотрят на него индейцы, заставил себя смириться. Свежая кровь полилась мне в горло. Я всегда думал, что у крови металлический привкус, но это только если ее попало в рот совсем немного. По-настоящему она мускусно-солончатая на вкус. На радость индейцам, я потянулся за добавкой и ел, пока меня не отогнали прочь. Остатки печени они съели сами, поливая сверху желчью, как соусом.

Покончив с внутренностями, они содрали шкуру с животного, кусок мяса оставили как жертву солнцу, а остальное разделили поровну на всех, примерно по пять фунтов. За несколько минут индейцы разделились каждый со своей долей, и я, беспокоясь, как бы не отобрали мою, ел быстро. Впервые за неделю я наелся досыта и почувствовал умиротворение. Между тем Мартин обессиленно сидел рядом, обгоревший на солнце, грязный, залитый собственной рвотой.

– Тебе нужно поесть.

– Знаешь, – усмехнулся он, – я не представлял, что такие места вообще существуют на свете. Держу пари, наши следы исчезнут при первом же порыве ветра.

– Тебя убьют, если ты не будешь есть.

– Они в любом случае убьют меня, Илай.

– Поешь, – умолял я. – Папа всегда ел сырое мясо.

– Папа – рейнджер, он делал много чего. Но я – не он. Прости. – Он похлопал меня по колену. – Я начал писать стихи о Лиззи. Хочешь послушать?

– Давай.

– Твоя невинная кровь, пролитая дикарями, вновь обретена на небесах... Чушь, конечно. Но это лучшее, что я могу сделать в таких обстоятельствах.

Индейцы внимательно наблюдали за нами, потом Тошавей принес еще кусок мяса и жестом показал, что я должен покормить своего брата. Тот оттолкнул еду.

– Я был уверен, что буду учиться в Гарварде, – нервно заговорил он. – А потом поеду в Рим. Знаешь, мысленно я уже словно побывал там; когда читал о нем, то будто видел своими глазами. Представляешь? – Он оживился. – Даже эти люди не смогут уничтожить во мне Вечный город. – Брат печально помотал головой: – Я написал Эмерсону десяток писем, но так и не отправил. Впрочем, думаю, ему было бы интересно.

Все письма, что он когда-либо писал, ныне исчезли в огне, но я не стал об этом напоминать. Просто еще раз попросил поесть.

– Им не удастся превратить меня в очередного грязного индейца, Илай. Уж лучше смерть. – Он, должно быть, заметил выражение моего лица, потому что добавил: – Ты не виноват. Я терзался мыслями о том, что нам не следовало переезжать в то место, но, с другой стороны, что еще мог сделать такой человек, как наш отец? У него не было выбора. Это судьба.

– Я все-таки накормлю тебя.

Он не обращал внимания на мои усилия, просто сидел, уставившись в землю. Потом потянулся и сорвал цветок – мы устроились как раз по центру цветущей поляны. Поднял цветок повыше, чтобы индейцы рассмотрели получше.

– Вот индейское одеяло. Или индейское солнышко.

Они не реагировали. Тогда он заговорил громче:

– Следует заметить, что крошечные, чахлые и даже бесполезные растения – такие как мексиканская слива, мексиканский орех или мексиканское яблоко – названы в честь мексиканцев, которых мы, несомненно, веками будем терпеть рядом с собой, в то время как прекрасные разноцветные растения названы в честь индейцев, которые вскоре будут стерты с лица земли. Это огромный комплимент вашей расе, – покосился он на индейцев. – Хотя, если уничтожение состоится чуть раньше, я не стану сожалеть.

Никакой реакции.

– Судьба людей, подобных мне, быть непонятыми. Это Гете, если вдруг вам интересно.

Тошавей сделал еще несколько попыток накормить его, но безуспешно. Через полчаса от туши теленка остались только кости и шкура. Шкуру свернули в рулон и приторочили к чьему-то седлу. Индейцы собирались в путь.

А потом брат увидел что-то у меня за спиной.

– Не мешай.

Тошавей прижал меня к земле. Вдвоем еще с одним воином они уселись сверху и стремительно связали мне запястья и лодыжки, как отец связывал молодых бычков. Меня оттащили подальше. Когда я сумел поднять голову, Мартин сидел все на том же месте, погруженный в себя. Сквозь цветы видно было только его лицо. Трое индейцев вместе с Урватом, хозяином моего брата, вскочили в седла. Они ездил вокруг него кругами, вопя и улюлюкая. Мартин поднялся на ноги, они принялись тыкать в него древками копий, заставляя бежать, но он стоял неподвижно, по колено в красно-желтых цветах, такой крошечный на фоне бескрайнего неба.

В конце концов Урвату надоела эта забава, он развернул копьё и ткнул брата острием в спину. Мартин продолжал стоять. Тошавей и другие индейцы держали меня. Урват ударил еще раз, брат упал прямо в цветы.

Тошавей с силой наклонил мою голову. Я понимал, что должен вырваться, но Тошавей не пускал. Я должен был вскочить и броситься к брату, но не мог и не хотел. *Все хорошо*, убеждал я себя, *вот сейчас возьму и поднимусь*. Я рвался из рук Тошавей, но он не уступал.

Брат вновь поднялся на ноги. Не знаю, сколько раз его сбивали с ног, а он вставал и вставал. Урват убрал копьё и поскакал на Мартина, вытаскивая топор; брат не вздрогнул и не отступил ни на шаг. Он упал в последний раз, индейцы сделали еще один круг вокруг мертвого тела.

Позже Тошавей объяснил, что мой брат, который всю дорогу вел себя как последний трус, вовсе не был трусом, а был *ке'тсеена* – что-то вроде обманки, мистического создания, посланного богами, чтобы испытать воинов. И убить его – это очень плохо, по законам команчей его и пальцем трогать нельзя. С моего брата нельзя было снимать скаल्प. Урват теперь проклят из-за его убийства.

Потом было много шума, споров, толкотни, и трое подростков-индейцев держали меня, пока взрослые переругивались. Я дал себе слово, что убью Урвата. Огляделся в поисках сочувствия, но немки демонстративно отвернулись.

Лопаточной костью мертвого бизона индейцы принялись рыть яму. Когда могила была готова, брата завернули в ситец, захваченный у поселенцев, и опустили на дно. Урват положил рядом свой томагавк, кто-то – нож, и мясо бизона еще у кого-то осталось. Посовещались, не зарезать ли коня, но от этой идеи отказались.

А потом мы поскакали дальше. Я смотрел, как могила постепенно скрывается из виду, как будто прямо на глазах зарастает цветами; как будто это место само стремится скрыть следы человеческой жизни – или смерти. И сохранятся эти следы, как говорил мой брат, до первого порыва ветра.

## Пять Дж. А. Маккаллоу

Будь она хорошим человеком, она не оставила бы семье ни гроша, ну, может, несколько миллионов – оплатить колледж или на случай болезни. Сама она выросла с убеждением, что если вдруг случится засуха, или проценты по кредиту вырастут, или саранча налетит – если что-нибудь пойдет не так, они умрут с голоду. Разумеется, это было полной ерундой, поскольку к тому моменту семья уже давно существовала на доходы от добычи нефти. Но отец жил так, словно верил в это, а она верила ему, и, значит, так оно и было на самом деле.

Отец частенько поручал ей выхаживать осиротевших телят, и время от времени она отправляла их, подросших, вместе с остальным скотом в Форт Ворт. Она прилично зарабатывала на своих телятах, чтобы начать вкладывать деньги в бизнес, и любила говорить, что именно это научило ее ценить каждый доллар. *Скорее, каждую тысячу долларов*, заметил однажды какой-то репортер. Впрочем, он был не совсем мужчина. Откуда-то с Севера.

Полковник, хотя и пил виски без зазрения совести все десять лет, что они жили вместе, всегда просыпался с рассветом. Однажды, когда ей было восемь, а ему девяносто восемь, он повел ее по сухому выгону, якобы высматривая следы, которых она не могла различить, – вокруг зарослей опунции и желтой акации. Она была абсолютно уверена, что никаких следов тут нет, прадедушке просто померещилось, пока они не оказались в кущах мыльнянки, и тут дед, сунув руку в траву, вытащил за уши маленького крольчонка. Она прижала его к груди и слушала, как колотится крошечное сердечко.

– А там еще есть? – Никогда в жизни она не была так счастлива, ей нужны были все крольчата сразу.

– Остальных мы оставим матери, – сказал дед.

Коричневое, морщинистое лицо его напоминало высохшее русло реки, а глаза вечно слезились. Руки у него пахли соком тополиных почек – корицей, карамелью и еще какими-то цветами, названия которых она не знала; проходя мимо дерева, дед всегда задерживался на миг, чтобы растереть в пальцах смолистую почку. Она унаследовала эту его привычку – даже на исходе жизни останавливалась, бывало, у старого тополя и растирала оранжевый комочек на ногте большого пальца, чтобы потом весь день вдыхать этот запах и вспоминать прадеда. Кто-то рассказал ей, что сок тополя называют галаадским бальзамом, но этому аромату не нужно имени.

Она принесла крольчонка домой, напоила молоком, а на следующий день собаки добрались до него. Можно было еще раз сбегать в заросли за новым, да ведь собаки рано или поздно отыщут и его, поэтому она решила оставить крольчат там, где они в безопасности, – очень зрелое и милосердное решение. Но все равно она не могла забыть, как мягкая шерстка щекочет ей живот, эту едва уловимую нежность, и теплоту ладони прадедушки, опирающегося на ее плечо.

В детстве она была маленькой хрупкой блондинкой, курносой и загорелой. Но точно знала, что, когда вырастет, превратится в темноволосую красавицу с белоснежной кожей и длинным прямым носом, как мама. Отец при этом недовольно фыркал. *Твоя мать выглядела совсем не так*, ворчал он, *она была блондинкой, как ты*. Но Джинни думала иначе. Мать умерла в родах совсем молодой, двадцати шести лет. Фотографий осталось мало, и все они плохого качества, зато у них было множество снимков отцовских лошадей. Но на портретах волосы у матери *действительно* были темными и длинными, а нос *прямым*; поразмыслив,

она решила, что отец просто ошибается, он не разбирается в женской породе, если, конечно, дело не касается лошадей или коров. Она была уверена, что доведись ей увидеть мать вживую, она заметила бы тысячу деталей, ускользнувших от внимания отца.

Вот что отец замечал наверняка, так это если старая корова терялась в чапарале, или если какую телку не покрывали уже второй год, или если новый работник, заверявший, что ловок в метании лассо, промахивался раз за разом или не проявлял должного усердия в розысках скотины. Отец замечал, если бодучий бык, *ladino*, дикий старый холостяк, начинает путаться с нашими домашними телками; всегда знал, что мексиканцы говорят насчет дождя, и как работают его сыновья, и не мешается ли под ногами Джинни. Несмотря на недовольное ворчание бабушки, каждое утро Джинни отправлялась верхом на работу вместе с братьями, если, разумеется, день был не школьный. Когда загоняли скот, она держалась в хвосте, но про себя знала: это просто потому, что она особенная. Отец не обращал на нее внимания, когда подсчитывали и клеймили скот, хотя братья учились бросать лассо у *тумбадорс*, а ставить клейма – у *маркадорес*, в то время как ей позволялось только подносить ведерко с разведенной известью, которую наносили на свежее тавро. Иногда она помогала готовить «устриц прерий»<sup>24</sup>, выгребая их из переполненного ведерка и поджаривая на раскаленных углях, специально вытащенных для этого дела. Они были такие вкусные и нежные, что буквально таяли во рту, и она уплетала их горстями, не обращая внимания на ехидные комментарии братьев по поводу ее влечения к таким деликатесам, да толком и не понимала смысла их насмешек.

«Устрицы прерий» – это одно, но стоило ей хоть на минутку задержаться рядом с *тумбадорс*, как отец тут же гнал ее прочь. Но она все равно научилась, сама. К двенадцати годам умела поймать и связать теленка не хуже братьев, могла выследить все, что движется, но это не помогало. Отец не желал, чтобы она работала вместе с мужчинами, а бабушка считала это попросту непристойным. Полковник, будь он жив, обязательно принял бы ее сторону. Он всегда видел в ней то, чего не замечали остальные, – непоколебимое чувство уверенности в себе, собственной исключительности, убежденность, что если она решила добиться чего-то, ее ничто не остановит. Полковник частенько говаривал, что однажды она многого добьется, и она просто принимала к сведению этот очевидный факт. Это все равно как если бы он сказал, что трава зеленая, или что глаза у нее огромные, как у олененка, или что она красотка, хоть и маленькая, и нравится всем вокруг.

Так что хотя перегон скота нагонял на нее тоску – медленно тащиться вслед за бесконечной пыльной чередой бычков, пощелкивая кнутом у их копыт, подгоняя самых медлительных к загонам на железнодорожной станции, – она участвовала в каждом перегоне. Несмотря на зной и невыносимую жажду во время клеймения скота – чаще всего в августе, когда чересчур жарко даже для навозных мух, – она удирала на пастбища, пока не видел отец, связывала бычков и руками, измазанными в телячьих слюнях, прикладывала тавро, если *маркадор* разрешал. Чуть касаясь – когда металл раскаленный, прижимая покрепче – когда немного остыл; она не позволяла себе ошибаться. Вакерос считали ее забавной. Они ее понимали и, хотя ни за что не позволили бы своим собственным дочерям участвовать в таком деле, охотно уступали ей место, чтобы немного отдохнуть в тени. До тех пор, пока она не ошибется. И она не ошибалась.

В прежние времена это считалось в порядке вещей. Тогда богатые люди были образцом для подражания. Вы достигали определенных высот и становились примером для других. Вся ваша жизнь была таким примером. Вы не выставляли перед камерами свое богатство и не становились центром всеобщего внимания, пока не *сделали* чего-то выдающегося.

<sup>24</sup> Сильно зажаренные тестикулы молодых бычков, обрезанные при холощении.

Ныне эти обязательства перед обществом утрачены. Богатые стремятся к популярности, как и любая посудомойка.

Может, и она не исключение. Наняла же специалиста для составления истории ранчо, истории семьи, но за десять лет тот лишь зарегистрировал каждое письмо, каждую записку, каждый клочок бумаги, которого касались руки Полковника, сканировал и перенес всю эту информацию в компьютер да постоянно ездил в Остин просматривать микрофильмы. Она поняла, что этот тип не способен написать обещанную книгу. *Вы можете сострять из этого какую угодно историю, по собственному желанию*, заявил он. *Что ж, тогда выберите лучшие моменты*, предложила она. *В таком случае это будет неправдой*, возразил он.

Она так и не смогла припомнить, с чего вдруг решила, что раздражительный маленький толстяк занимается недоступным ей таинственным литературным творчеством. Она раскрыла чековую книжку, и на запах тут же слетелись заинтересованные фонды. Чек – упоминание в прессе, еще чек – еще пара заметок; имя и слава Полковника разрастались, подобно корням мескиты. Уже на следующий год о нем написали в новых монографиях по истории штата, тех самых, которыми возмущались все либералы.

Если ты не работал, то оставался голодным. Если не поднялся до рассвета, будь за окном десять градусов или сто, если не провел весь день в пыли и колючках, ты не сможешь выжить, твоя семья обречена, ты получил Господне благословение и бессмысленно промотал его.

Повзрослев и узнав чуть больше, она поняла, что семья все это время была вполне благополучна и обеспечена. Но было поздно. Она уже не могла не думать о койотах, выслеживающих ее телят; ветряках, подшипники которых надо непременно смазать; изгородях, поваленных ветром, или дикими животными, или беспечными людьми. Перестав беспокоиться о стадах, она переключилась на нефть. Какие скважины давали больше или меньше, чем она рассчитывала (все-таки, пожалуй, меньше – ей всегда было мало), какие новые участки можно бы задействовать, а на какие из старых пора махнуть рукой, каких буровых мастеров можно нанять, а кому доверять не стоит, что можно купить по дешевке. Все скважины рано или поздно иссякают, и в тот момент, когда вы перестаете искать новые, ваша звезда начинает клониться к закату.

*И все же – почему я лежу на полу?* Она огляделась вокруг. В комнате дымно. Трубу пора почистить? И эта пульсирующая боль в голове – не похоже на инсульт. В комнате кто-то есть, теперь она была в этом уверена.

С детьми все пошло не так... Она всегда подозревала, что слабость они унаследовали от Хэнка, хотя, может, всему виной городская жизнь, школы, где они учились, их друзья, либеральные учителя. В больших городах у детей много разных занятий, но работа не входит в их число. Выходные, проведенные верхом в компании вакерос, – всего лишь еще один вид развлечений, вроде выездки или катания на лыжах. Хуже того: чтобы к понедельнику вернуться в школу, на ранчо приходится лететь самолетом. Ее дети не идиоты. Они прекрасно знали, что настоящие вакерос не летают на работу частными самолетами.

В них не было стержня, характера. Заставить их работать летом – даже не обсуждается. Июль и август – самые жаркие из всех жарких месяцев; когда клеймят скот, от зноя нет спасения, как в африканской пустыне, за считанные минуты одежда намокает от пота, грязная пленка покрывает каждый дюйм кожи. Она выросла с мыслью, что это нормально, неприятно, да, но нормально, а вот ее дети не в состоянии выдержать ни часа такой жизни. Сюзан тут же падала в обморок и валилась с лошади.

Дж. А. недоумевала, но, похоже, это смущало только ее. Она даже начала сомневаться в себе. И лишь позже, когда дети выросли, она поняла, что все-таки была права: если люди

привыкают получать деньги просто так, если они работают только под настроение, они начинают пренебрежительно относиться к самой идее работы. И изо всех сил пытаются оправдать собственную лень. Они начинают верить, что семейное состояние – нечто вроде природного явления, как вода, или воздух, или чистые простыни.

*Надо бы немедленно отобрать у них все деньги,* думала она. Но слишком поздно. Дочь она уже испортила; сына, возможно, тоже. При мысли об этом ей стало дурно... Дело не только в деньгах. Она-то понимала, как обошлась с детьми. И огромное наследство, оставленное им, можно считать как ее покаянием, так и извращенной карой. *Ты плохая христианка,* решила она.

После смерти отца она прекратила ходить в церковь. Если молитвы не смогли уберечь ее семью, она не видела в них смысла. Но после переезда в Хьюстон с Хэнком пришлось вернуться к исполнению религиозных обрядов. Иначе будут показывать пальцем. Она никогда всерьез не задумывалась, верит ли в Бога, хотя в последние лет десять вера, кажется, окрепла, а говорят, только это имеет значение. С возрастом у вас не остается выбора – спасение или вечная пустота, – и неудивительно, что в церкви встречаешь вовсе не юнцов, у которых вся жизнь впереди.

Она припомнила проповедь, в которой священник перечислял имена выдающихся людей, с которыми предстоит встретиться на небесах: Мартин Лютер Кинг (для черных), Махатма Ганди, Роналд Рейган. Не стоило, конечно, упоминать Ганди. Уж лучше Джон Уэйн. Вот представьте: столько замечательного народу соберется на небесах, все захотят поболтать с ними. Не много надо ума, чтобы понять: для знаменитостей должен быть отдельный рай, такое специальное место, где их никто не побеспокоит, вроде закрытого клуба. Любопытно, попадет ли она туда. Впрочем, на небесах деньги не имеют значения. Так что, возможно, люди о ней и не вспомнят. Трамп, Уолтон, Гейтс, да и она – сами по себе не интереснее любого мусорщика.

Приятно, конечно, будет встретиться с Хэнком, с ее мальчиками Томом и Беном, с братьями. Но вот как быть с Тедом, который двадцать лет после Хэнка был ее любовником? Кое-кто будет ревновать. И кстати, Томас – важная подробность – тоже окажется там?

Послушать, что рассказывают о небесах, так это грандиозный город с двенадцати вратами. Никакой тебе еды, пищеварение вообще ни к чему, секса тоже нет; лежишь себе в трансе и слушаешь звуки арфы. Похоже на хоспис, из которого нет выхода. А она-то в свое время готова была переспать с каждым встречным симпатичным мужиком. Выходит, ей прямая дорога в ад.

*Не хочу умирать,* подумала она. И открыла глаза. Она так и лежала на бордовом ковре в гостиной. Огонь все так же горел. Кажется, ярче? Непонятно. Она попыталась шевельнуть головой, ногами. Безуспешно.

## Шесть Дневники Питера Маккаллоу

12 августа 1915 года

Газеты уже всюду распространяют версию, целиком записанную со слов Полковника. Нижеследующее останется единственным правдивым рассказом о том, что случилось.

Вчера наш *сегундо*<sup>25</sup> Рамирес ездил на западные пастбища и видел всадников, перего-нявших герефордских коров через реку. Гарсия не разводят племенной скот, так что понятно, чьи это были коровы.

Только после заката мы до них добрались. Большая часть стада уже стояла на другом берегу, расстояние приличное, почти триста ярдов, но все мы – Гленн, Чарлз, я, Полковник, Рамирес, наш капрал Рафаэль Гарца, несколько наших вакерос – открыли стрельбу в надежде напугать разбойников, чтобы они бросили скотину. Но бандиты оказались матере: несколько человек спешили и принялись отстреливаться, пока остальные погнали коров в *брасаду*<sup>26</sup> на мексиканской стороне. Гленна ранили в плечо, последним выстрелом с того берега.

Дома уже ждали двое рейнджеров и доктор Пилкингтон, которого вызвала Салли, как только услышала выстрелы. Артерию у Гленна не задело, но ему все равно нужна была операция, Пилкингтон считал, что лучше отвезти его в госпиталь в Сан-Антонио. Пока они с Салли занимались Гленном, я поговорил с сержантом рейнджеров – суровым светловолосым малым, похожим на беглого каторжника. На вид ему всего лет двадцать, но товарищ его явно побаивается. Опасайтесь коротышек в Техасе: чтобы выжить на этой земле гигантов, им приходится быть в десять раз опаснее и подлее.

Банда мексиканцев подстрелила белого подростка, и я хотел, чтобы вокруг было как можно больше законников, но с первого взгляда понял, что рейнджеры проблемы не решат. Впрочем, это все равно лучше, чем Нил Гилберт и его дружки из Лиги Закона и Порядка.

– Сколько еще ваших ожидается? – спросил я сержанта.

– Никого. Вам повезло, что хотя бы мы здесь оказались. Вообще-то должны были быть в Округе Идальго. – Он чуть не сплюнул на ковер, но сдержался.

На Кинг Ранчо есть собственный эскадрон, но об этом не стоило упоминать.

Мы загрузили Гленна на заднее сиденье автомобиля Пилкингтона. Салли взобралась следом. Гленн выглядел таким несчастным, мне хотелось быть рядом с ним, но я понимал, что являюсь единственным голосом разума на двадцать миль вокруг. Уеду сейчас – и не хочу даже представлять, к чему вернусь.

Салли, высунувшись в окошко, прошептала:

– Ты должен прикончить этих ублюдков, всех до единого.

Я промолчал. Подобные разговоры здесь стремительно оборачиваются делом.

– Ты же сын самого Полковника, Пит. Сегодня ты должен вести себя именно так.

– Кажется, это были Хосе и Чико, – встрял Гленн. – Судя по тому, как они вскочили в седла.

– Было темно, малыш. И все мы были на взводе.

– Я уверен, пап.

---

<sup>25</sup> Управляющий, помощник (*исп.*).

<sup>26</sup> Заросли, кусты (*техас. диал.*).

Другой на моем месте не стал бы сомневаться в словах сына, истекающего кровью на заднем сиденье докторского автомобиля. Впрочем, в нем я и не сомневался; проблема в моем отце.

– Ладно, – вздохнул я. – Ты храбрый парень.

Они уехали. Вряд ли Гленн думал, что заметил Хосе и Чико, пока об этом не заговорил Полковник. Люди обычно не осознавали, что мой отец способен внушать им свои мысли.

Все рвались к Гарсия немедленно, пока те не успели забаррикадироваться в *каса майор*<sup>27</sup>. Вакерос толпились у дома, курили и жевали табак, в любую минуту готовые пролить кровь за своего патрона.

Подошли и белые – примерно с дюжину мужчин: шериф Грэм из Карризо с парой помощников, еще один рейнджер, новый егерь и в придачу Нил Гилберт с двумя сыновьями, двое членов Лиги Закона и Порядка из Эль-Пасо. Услышав, что подойдут еще люди, Гилберт приволок из своей лавки ящик винтовок Крейга и к ним несколько сотен патронов.

– Подойдут для чего? – поинтересовался я.

– Чтобы помочь вам разобраться с этими хитрожопыми ублюдками.

– Эти хитрожопые ублюдки находятся за рекой, на своей земле.

Он смерил меня презрительным взглядом. Я хотел было напомнить про свои четыре года колледжа против его четырех классов начальной школы, но он из тех, кто считает, будто сила заключается в умении унижить другого человека. С таким же успехом можно объясняться с ослом.

У меня всегда была отличная память, о чем отец и Чарли хорошо знали, но не любили упоминать при посторонних. Прошло меньше трех часов, но факты чудесным образом успели измениться – людей, чьи белые рубахи были едва заметны в сумерках, оказывается, прекрасно рассмотрели. Я напомнил, что было слишком темно – настолько темно, что нас слепили вспышки выстрелов из наших собственных винтовок, – но это уже не имело значения.

Выяснилось, что все сумели разглядеть даже лица бандитов, – и это были лица парней из семейства Гарсия.

Я предложил подождать рейнджеров или солдат – необходимо было задержать набег, при свете дня люди не так склонны к бессмысленной расправе, – но Чарлз заявил, что, во-первых, мы не должны спускать им выстрел в Гленна, а во-вторых, солдаты вообще нам не помощники. Генерал Фанстон ясно дал понять, что армия вмешается только в том случае, если будет совершено нападение непосредственно на его солдат. Он не станет посылать своих людей на поимку обычных воришек. Если, конечно, увели не «брахманов»<sup>28</sup> с Кинг Ранчо.

Мне стало совсем тоскливо. Солдаты – единственные представители власти в Техасе, которые не имеют привычки просто так стрелять в мексиканцев. Рейнджеры – это лучшие и одновременно худшие люди штата. Сержант упоминал, что их всего тридцать девять человек на весь Техас; тот факт, что трое из них (третий прибыл из Карризо) находились в этой комнате, само по себе чудо.

*Чудо для кого?* – подумал я. Все это походило на собрание ассоциации скотоводов: старые приятели дружески обсуждали границы пастбищ, и кого из политиков следует подержать, и как защитить свои рынки от конкурентов с Севера. И тут откуда-то с галерки

---

<sup>27</sup> Главный дом (*исп.*).

<sup>28</sup> Уникальная порода коров, устойчивая к жаркому климату, выведенная на Кинг Ранчо путем скрещивания шортгорнов и индийских зебу.

в беседу вступил Полковник. Он разразился длинной речью в поддержку Чарлза, в которой я наконец-то распознал их нечестивый союз. Он заявил, что ранение Гленна целиком его вина, что еще пятьдесят лет назад у него была возможность навеки вышвырнуть Гарсия с этой земли, а он упустил шанс и будет проклят, если позволит такому повториться в его земной жизни.

Я попытался напомнить, что в силу различных событий на нашей земле фамильное древо утратило несколько листьев. Отец сделал вид, что не слышит меня.

– Я потерял здесь мать, сына и брата, – настаивал я. – И еще один сын сейчас на пути в больницу. И я предпочел бы подождать до утра.

Все согласились, что наша семья пережила страшные трагедии, но лучшим решением было бы расправиться с Педро как можно скорее. Теперь это якобы общая проблема – не только наша, – ибо неизвестно, кто станет следующей жертвой Гарсия.

Я выдвинул еще один аргумент, а именно, что Педро Гарсия гордый человек и под давлением разъяренной толпы он ни за что не выдаст своего *yerno*<sup>29</sup> или любого другого члена семьи, но призвать его к ответу по закону при свете дня – это совсем другое дело.

– *Мы* и есть закон, – заявил сержант рейнджеров.

Остальные дружно согласились. Никто из них не хотел бы оказаться среди ночи в окружении вооруженной толпы, но отчего бы Гарсия не попробовать. Я не стал указывать на такие детали, а просто предложил:

– Лучше все-таки проявить уважение и дождаться восхода. Педро отдаст виновных, даже если это будут его родственники.

Они не только отвергли предложение, но заорали, что я могу вообще запереться в кухне и сидеть там с остальными бабами. Мы подождали еще немного, пока не подошли остальные, поскольку новость распространилась уже по четырем округам.

Зарезали и зажарили поросенка; подали говядину с бобами и тортильей, стол сервировали парадно, зажгли камин, принесли кофе. Мужчины толпились в гостиной, беседовали или листали старые номера «Ветерана Конфедерации»; заряженные винтовки составлены в соседней темной комнате, где по стенам рисунки флорентийских руин, бюсты и статуи. Каждый мимоходом проводил пальцем по резьбе кресел и столов, с трудом удерживаясь от желания поковырять дерево перочинным ножом. Все тут было куплено оптом у наследников какого-то покойного филадельфийца, все содержимое дома, включая окна от Тиффани, – куплено и перевезено сюда, и сам дом построен для хранения всех этих вещей. Мраморными статуями ни один не заинтересовался, зато все останавливались перед картиной «Ли и его генералы», копеечной гравюрой, висящей в каждом доме, восторгались, после чего возвращались к говядине и кофе.

Часам к трем прибыли еще несколько человек, часом позже подъехала дюжина бойцов на двух грузовиках. Вплоть до этого момента я продолжал надеяться, что план нападения рассыплется, поскольку у нас меньше сорока человек против двух десятков у Гарсия, сидящих фактически в крепости. Теперь в нашем отряде уже более шестидесяти солдат, все с магазинными винтовками, а некоторые вообще с «ремингтонами» и автоматическими винчестерами. Полковник не мог скрыть удовлетворения.

– Один из твоих внуков ранен, – сказал я ему. – Остальные собираются на войну. Не понимаю, отчего ты так счастлив.

Он посмотрел, словно в тысячный раз говоря: какая жалость, что ты бросил учебу и вернулся на ранчо. Пришлось напомнить себе, что он человек другой эпохи. И с этим

---

<sup>29</sup> Зять (*исп.*).

ничего не поделаешь. Есть ведь еще и третий внук, о котором я не сказал, названный в мою честь, похороненный рядом с моей матерью и братом.

Я поднялся к себе в кабинет – только здесь, среди книг, мне было спокойно. Единственное убежище в моем собственном доме, в собственной семье, возможно даже в собственной стране. Где-то далеко в темноте таякали койоты; на террасе вакерос тихо переговаривались по-испански. Кто-то пошутил. Если они волновались или сомневались в необходимости набега на своего земляка, по голосам этого заметно не было. Я понял, что дальше будет только хуже.

Должно быть, я все же уснул, потому что услышал, как кто-то окликает меня по имени. Сначала подумал, что это мама зовет меня к ужину; мы в нашем старом доме в Остине, вокруг зеленые поля, леса, ручей журчит всю ночь напролет. У мамы нежные руки, и всюду, где она прошла, пахнет розами. Я погрузился в воспоминания и ощущения, позволив себе забыть, где нахожусь, и на миг я вновь стал юным, и мы пока не переехали в эту кошмарную страну, где начались все наши несчастья. Не понимаю, как Полковник может любить землю, которая погубила столько родных ему людей и наверняка потребует новых жертв.

Мы выехали около пяти утра. Почти семьдесят человек. Всю ночь провели на ногах, но угрюмые и сосредоточенные, как будто направлялись в Йорктаун или Конкорд<sup>30</sup>. Полковник в своей знаменитой кожаной жилетке; весь город уверен, что она сделана из скальпов апачей. Даже рейнджеры подчинялись ему, как будто перед ними был настоящий генерал, а не старик, который даже звание полковника получил условно и вообще сражался за сохранение рабовладения.

Вокруг него образовался летучий отряд вакерос. Полковник не жаловал мексиканцев, а они все равно готовы были умереть за него. Зато меня, который был на их стороне, – другого такого великодушного патрона еще поискать – они презирали.

За час до рассвета мы спешили и дальше двинулись пешком. Дом Гарсия возвышался над окрестностями – сторожевая башня, высокие каменные стены с парапетом. Столетие назад дом был бастионом цивилизации в пустыне, оплотом борьбы с варварством индейцев, но сейчас, в глазах людей, направляющихся на штурм, он превратился в стража старого, полудикого порядка, противника прогресса и всего светлого, что есть на этом свете.

Я скользнул в кустарник. Неподалеку на корточках примостился Полковник. Он глянул в мою сторону и усмехнулся – то ли радовался предстоящей схватке, то ли гордился мной, участвующим в старинном семейном обряде.

Остальные, видимо, считали себя настоящими героями, но никто из них не жил здесь в прежние времена; они старались держаться от этих краев подальше, пока опасно стипе не миновали. Невероятно, что я оказался по одну сторону с такими людьми. Да только по этой единственной причине мне следовало выступить в защиту Гарсия.

Потом я вспомнил о Чарлзе. Он очень волновался, и я предложил ему вернуться домой и омыть руки от всего, что должно было здесь произойти, – тщетно. Он был уверен, что вот-вот примет участие в важнейшем ритуальном действе, после чего станет настоящим мужчиной. Я всегда боялся, что его может ужалить змея, или лошадь лягнет, или он попадет на рога быку, или скотина затопчет. Всех этих опасностей малыш избежал, но, похоже, я все-таки его потерял. Вот он, весь потный, несмотря на прохладу ночи, сжимает винтовку в полной готовности стрелять в человека, который был гостем на его крестинах.

---

<sup>30</sup> Йорктаун – город, рядом с которым в 1781 г. капитулировала английская армия, что означало окончание Войны за независимость Соединенных Штатов. В Конкорде в 1775 г. состоялся первый конгресс колонистов провинции Массачусетс, после которого прозвучали первые выстрелы американской Войны за независимость.

Каса майор Гарсия стоял над остатками старой деревни – несколько саманных домиков и ветхих *visitas*<sup>31</sup>, несколько акров *corrales de lena*<sup>32</sup>. Двор огорожен каменной стеной – отголосок времен, когда скот пасли на открытых пастбищах, – здесь-то мы и выстроились, окружив дом с трех сторон на расстоянии пятидесяти-шестидесяти ярдов. Настроение не изменилось. Предстояла не просто расправа – свержение старого режима, создание нового мира.

А потом появился Педро. Густые седые волосы аккуратно зачесаны назад, белоснежная рубашка, брюки тщательно заправлены в высокие башмаки. Он, казалось, удивился, увидев толпу, в которой множество его соседей – людей, чьи семьи ему хорошо знакомы, чьих жен и детей он всегда радостно приветствовал. Шаркающей походкой человека, поднимающегося на эшафот, он вышел на террасу, встал у верхней ступени лестницы. Начал было говорить, но голос дрогнул, и ему пришлось откашляться.

– Моих зятьев здесь нет. Я не знаю, где они, но, как и вы, я буду рад увидеть их на виселице. К несчастью, их здесь нет.

Он смущенно пожал плечами. Если и существует худшее зрелище, чем напуганный гордый человек, я такого не видел.

– Может, кто-нибудь из вас войдет в дом, и мы вместе обсудим, как их отыскать.

Опустив винтовку, я перебрался через стену и двинулся вперед, пока не оказался по центру двора, как раз между нашими людьми и его. Наши смутились было, но быстро взяли себя в руки и пришли в ярость, поняв, что я намерен лишить их развлечения.

– Я поговорю с Педро, – объявил я. – Если сержант и его люди пойдут со мной, мы сумеем все решить.

Сержант покачал головой. Возможно, он опасался, что это ловушка, а может, опасался, что как раз *не ловушка*, – трудно сказать.

– Все вы знаете, что Гленн – мой сын, – продолжал я. – И украденные коровы – тоже мои. Это не чья-то война, а лично моя. И я ее не хочу.

На меня никто больше не смотрел. Гленн и наш скот больше не имели к происходящему никакого отношения. Все разом взяли оружие наизготовку, присев пониже, словно не стовариваясь решили, что меня вообще не существует, – так стая птиц одномоментно меняет направление полета без всякой команды. Откуда-то справа раздался выстрел, потом грянул залп. Услышав свист пуль над головой, я рухнул на траву.

Педро тоже упал. Он лежал на террасе, держась руками за живот, но тут из дверей выскочили двое и втащили его в дом, не обращая внимания на пули, откалывавшие щепы от косяков.

Поверх низенького каменного укрытия я разглядел торчащие макушки наших соседей – а еще барабаны револьверов, дымок, вырывающийся из стволов, сверкающий металл перезаряжаемых магазинов, облачка пыли там, где пули попадали в камень. Подняться я не мог, иначе меня пристрелили бы те или другие, поэтому продолжал лежать. Мне было странно спокойно, и я подумал, а не убит ли уже; земля подо мной слегка покачивалась, словно я плыл по реке или, может, по воздуху. Отсюда, с огромной высоты, все казалось бессмысленным. Мы могли вообще не выбираться на сушу; собственное неведение человек осознает не более, чем рыбы, таращащиеся из пруда, – свое.

А пули все посвистывали. Я смотрел на Билла Холлиса, когда вдруг взвилось белоснежное облачко, глаза его расширились, словно он пережил откровение, винтовка звякнула о стену, и он опустил голову, будто внезапно решил вздремнуть. Перед глазами встала картина: Билл играет на скрипке у нас в гостиной, а его брат поет.

<sup>31</sup> Гостевой дом (*исп.*).

<sup>32</sup> Загон для скота с деревянной оградой (*исп.*).

Дом разнесли выстрелами буквально в щепы. Тяжелые трехсотлетние дубовые двери, привезенные из родового поместья в Испании, превратились в лучину. Терраса разрушена, как и верхушка сторожевой башни. Известняковые *sillares*<sup>33</sup>, останки иной эпохи, способны остановить стрелу, но не пулю – дом был окутан плотным облаком пыли, прахом его костей.

Наконец ответный огонь прекратился. Между тем взошло солнце, и яркие лучи его сияли сквозь старые бойницы. Двери и ставни разбиты в щепы, стены покосились; если бы не свежая пыль, можно подумать, что дом заброшен много лет назад. Я потихоньку пополз к стене.

– Заряжай! – раздался крик. – Всем перезарядить оружие!

Добравшись до стены, я перевалился на другую сторону. Юный сержант рейнджеров отдавал распоряжения:

– ...я вхожу в дверь, вы за мной и сразу в сторону, но так, чтобы успевали стрелять. Мексиканцы могут прятаться по углам. Не поворачивайтесь спиной к углам, пока не выстрелите туда несколько раз. Когда я поднимусь, – повысил он голос, – вы начинаете палить в сторону дома. Но как только перешагну через эту стенку, тут же прекращаете огонь. Все слышали?

Не думаю, что кто-нибудь это расслышал. Звон в ушах и зрелище разрушений погрузили каждого в его собственный мир. Как ни странно, большинство согласно кивнули, остальным инструкции проорали прямо в уши.

Едва сержант поднялся, над двором прогремел залп. Он махнул рукой, потом долго что-то кричал, пока наконец стрельба не стихла, и тогда сержант с дюжиной парней, среди которых оказался Чарлз, бросились к дому. Я окликнул Чарлза, требуя, чтобы вернулся, но он и ухом не повел. Старый толстяк Нил Гилберт не двинулся с места, как и оба его сына.

Нападавшие ворвались через разбитую дверь, едва заметив ее. В доме вновь начали стрелять, все чаще и чаще, пока выстрелы не слились в один сплошной грохот. Что происходит внутри, мы не видели, только тени мелькали за окнами; несколько шальных пуль цвickнули по двору. Потом все стихло, и вдруг неожиданно громкое *non-non-non*. Опять тишина, еще несколько одиночных выстрелов. Дальше я уже не пытался ничего различить. Вдали шумела река Нуэсес, расстилавшиеся зеленые поля, встававшее солнце освещало клубы пыли, и каза майор был словно окутан сияющим оранжевым облаком, откуда вот-вот явится чудо – снизойдут ангелы или, напротив, низвергнется божественное пламя, которое сотрет нас с лица земли.

Я пытался найти в этом хоть какой-то смысл. Лучший участок на многие мили вокруг – отличные, хорошо орошаемые почвы, и мы не первые, кто сражался за них. Копни здесь землю – и обнаружишь человеческие останки: сломанные кости, ребра, пронзенные копьями.

На крыльце появился человек, махнул шляпой. Чарлз. Рубаха порвана в клочья, рукав окровавлен. Он прокричал, что все кончено, но никто не двинулся с места, поэтому я вскочил и, размахивая руками, принялся ходить вдоль строя наших союзников, призывая опустить оружие.

Я хотел осмотреть руку Чарлза, но он оттолкнул меня. Похоже на дробь.

– Дай взглянуть.

– Да мне даже не больно. – Он сторонился меня как зачумленного.

Внутри дом выглядел так, будто здесь все разрушили перед ремонтом. Или как музей, разгромленный вандалами. Антикварная мебель разломана на куски, обивка изодрана, повсюду клочья ваты, как будто развлекалась стая сумасшедших птиц. Потемневшие от вре-

---

<sup>33</sup> Каменные блоки (*исп.*).

мени портреты патриархов и матриархов семейства, византийская икона, старинные гобелены, рисунки, оружие, кресты – все разорвано и разбито. Иллюстрированная Библия, гордость семейства Педро, сброшена с *altarcito*<sup>34</sup> и валяется, раскрытая, среди кусков штукатурки.

В гостиной я насчитал пять мертвых мужских тел и одно женское. В них было столько пулевых отверстий, что кровь вытекла вся до капли, залив обломки мебели, пропитав все ткани и смешавшись с пылью. Один из мужчин выглядел чересчур старым для Педро, я опустился на колени и перевернул его, это оказался Сезар, вакеро, помогавший нам перегонять скот еще с тех времен, когда я был мальчишкой. Кровь промочила мои брюки, и, когда я поднялся, потемневшая влажная ткань облепила ноги.

Взгляд зацепился за светлое пятно под диваном: маленькая девчушка в голубом платье. Рядом с ней мальчонка лет шести-восьми, тоже мертвый. Но тут между моими глазами и разумом встала стена; я рассматривал окружающее с академическим интересом: вот это кровь, а вот пулевые отверстия. И мелкие детали: застывающие темно-красные лужи, кровавые отпечатки ладоней и следы башмаков, длинные размазанные полосы там, где ползли раненые, красные брызги на стенах, отмечающие чей-то последний миг, финал истории, которая никогда не будет рассказана. Юноша с перебитым позвоночником валяется, как пьяный, мозги расплесканы по рубашке. Я заметил, что остальные рассматривают место побоища с тем же холодным интересом; когда кровь не твоя, она просто как вино или вода.

В кухне шестеро убитых: трое вакерос Педро – Ромальдо, Грегорио и Мартин – и его средняя дочь, Кармен; двое мужчин мертвым взглядом смотрят друг на друга поверх скорчившихся тел близняшек – внучек Педро, в белых платицах, с косичками. Пахнет, как на скотобойне: запах крови, вспоротых животов, внутренностей, но еще чего-то сладковатого – розы. Наверное, мой мозг сам создал этот запах из потока разнородных ощущений.

Я прошел в кабинет Педро. Здесь почему-то ничего не тронули. Я внезапно устал и сел в кресло напротив письменного стола, как делал множество раз прежде. Пускай остальные займутся осмотром. Впрочем, это еще хуже. Нечего избегать ответственности. Я поднялся и пошел на запах розовой воды, в спальню, в двери которой зияли две огромные пробоины. Под ногами захрустела штукатурка.

В дальнем конце комнаты, по центру большой кровати лежал Педро. Казалось, он просто спал. От крепкого запаха розовой воды меня чуть не стошнило. Какой пустяк. Подойдя ближе, я разглядел его лицо, подушку, пятна на постельном белье. Что-то светлое – пара выбитых зубов – валялось около головы. Лицо покрывали белые перья.

Здесь шел бой: задняя стена испещрена дырками от пуль, одежда разодрана, по полу рассыпаны украшения. Показалось, что я слышу голос Педро, но это просто шутки поврежденного пальбой слуха. В изножье кровати лежала Ана, младшая дочь Педро, ее платье наполовину промокло от крови, спина и шея выгнуты, словно она, собрав все силы, пыталась крикнуть что-то. Старому армейскому кольцу.

Лурдес Гарсия, все еще сжимавшая в руках старинный испанский ягдташ, застыла по другую сторону кровати.

В комнату сунулся егерь, окинул взглядом разрушения и велел мне не прикасаться к телам.

– Если не уберешься отсюда к дьяволу, немедленно, – ответил я, – завтра можешь искать другую работу.

Я поправил платье на Ане и уложил их с Лурдес на кровать рядом с Педро. Бессмысленно. Скоро их отсюда унесут. Я вышел прочь.

<sup>34</sup> Небольшой домашний алтарь (*исп.*).

В одном из шкафов в соседней спальне мы обнаружили женщину лет тридцати. Живую. *Estas herida?*<sup>35</sup> Я узнал Марию, незамужнюю дочь Педро, но лицо ее было измазано кровью и грязью, а глаза такие безумные, что я все же не был до конца уверен, она ли это. Она не возражала, когда я торопливо ощупал ее голову на предмет ранений, стремительно распахнул блузку, осмотрел грудь и спину, приподняв юбку, проверил, нет ли ран на ногах. Она была цела. Молча позволила мне поправить одежду.

Я вывел ее наружу и передал Айку Рейнолдсу с сыновьями, кого знал как порядочных людей. Уже через минуту они все вместе умчались. Трудно сказать, к кому она может обратиться. Гарсия жили в этой стране дольше, чем любая белая семья, они были истинными идалго, получили свои земли от самого испанского короля. Педро никогда не упоминал никаких мексиканских фамилий, он не считал себя мексиканцем.

Солнце стояло в зените. Чарлз и один из рейнджеров были ранены из дробовика, но раны неглубокие. Я вспомнил, сколько гильз валялось рядом с Лурдес. Возможно, ее убил Чарлз. Или он убил Педро, или Ану.

Приятеля Нила Гилберта, приехавшего из Эль-Пасо, того самого, что рвался «призвать к порядку» мексиканцев, прикончили выстрелом в рот. Мимолетное чувство удовлетворения, охватившее меня, быстро испарилось: теперь из него сделают мученика. Коротышка сержант-рейнджер получил ранение в руку, да еще приклад его карабина разнесло пулей.

Раненые или нет, двенадцать нападавших молча устроились на пороге; одни лежали, другие сидели, пляясь на крышу или в небо. Салливан осматривал их, громко, прямо в ухо, выкрикивая распоряжения поднять рубаху. Мне не давала покоя мысль, неужели именно Чарлз убил Педро и Лурдес, но я вновь отогнал ее.

Тем временем стали подходить и те, кто оставался у ограды. Билла Холлиса уложили в тени. Его брат Датч присел рядом. Принесли еще четверых. Один из них, кажется, был из наших вакерос, но сил не было встать и посмотреть.

Спустя несколько часов явились фотографы. Рейнджеры позировали рядом с телами мужчин Гарсия, изуродованные пулями мертвые лица все равно не разглядишь на газетных снимках. Они будут казаться просто грязными и страшными, как лица любых покойников.

Никто и слова не сказал об отсутствующих зятях Педро. Все оказалось, как он и говорил: их не было в доме. Тела женщин и детей уложили в тени, отдельно от мужчин, то ли по старинному правилу, то ли для того, чтобы не попали на фотографии.

Наблюдая за тем, как фотографы снимают горожан на фоне убитых Гарсия – длинная очередь образовалась, – я почувствовал, что смертельно устал. Понятно, что именно будут думать, а скорее, вообще не будут думать о Гарсия те, кто увидит эти снимки. О Гарсия, чьи останки, втопанные в пыль и в высохшую кровь, почти неотличимы от известковой почвы. Публика заметит только живых, совершивших подвиг, а в мертвых едва ли вообще узнает людей. Они просто охотничий трофей, вроде убитой пантеры или оленя, прожившие целую жизнь только ради гибели в назначенный момент.

Горожане все прибывали, теперь уже и женщины с детьми. Наши вакерос куда-то исчезли, забрав с собой тела убитых товарищей, а члены «комитета бдительности» вместе с подоспевшими женами тем временем рылись в шкафах. Мебель была очень дорогой, по большей части из старой Испании, да в придачу еще антикварное оружие из чистого серебра. Когда-то Гарсия были богаты, и я понимал, что дом будет разграблен и разорен.

Что до меня – я всегда знал, что не оставлю ни малейшего следа, никакой памяти о себе на этой земле. Но Гарсия – для них все было иначе, они надеялись, и верили, и жили.

<sup>35</sup> Это война? (исп.)

## Семь Илай Маккаллоу

После смерти брата я два дня бился в горячке. Индейцам пришлось крепко привязывать меня к лошади. Мы все еще скакали по Льяно, но утром третьего дня я увидел, как вдали сияет нечто похожее на огромный город. Сверкающий город парил в воздухе, и я понял, что мать была права: жара, или лихорадка, или кто-то из резвящихся индейцев все же прикончил меня и скоро я встречу со своими родными. Наверное, я должен был испытать восторг, но мне вдруг стало грустно как никогда в жизни.

Мы подъехали ближе, и оказалось, что это вовсе никакой не город. Закрытый каньон, но он парил в небе над нами, как будто кусок горной цепи вырезан из земной плоти; широкая сверкающая река, стада оленей. Выходит, мать ошиблась. Индейцы забрали меня в свои небесные охотничьи угодья, где я останусь их пленником до окончания времен.

Я принялся скулить какие-то молитвы, но за шумом ветра меня никто не расслышал. Когда мы наконец добрались до места, оказалось, что это и вправду каньон, но в небе просто отражается мираж. Сам каньон оказался даже больше, чем его небесный образ, – дюжина миль в ширину, тысяча футов глубиной, с каменными выступами, причудливыми фигурами, напоминавшими сторожевые башни, пологими холмами и множеством ручьев, весело журчавших среди красноватых скал. Здесь росли тополя, каркас<sup>36</sup>, а земля устлана густой травой и дикими цветами.

Мы взбирались туда целый час и встали лагерем на берегу прозрачной речушки. Окаменевший череп неведомого зверя с огромными бивнями торчал из обрывистого склона. Интересно, что бы на это сказал мой брат. Индейцы отдыхали. Ради моей собственной безопасности меня привязали к дереву, но немोक отпустили бродить просто так, я заметил, как одна присела на пригорке неподалеку. Индейцы могли не беспокоиться: вокруг полно следов пумы, волков и гризли – не то место, чтобы шастать в одиночку.

Подстрелили несколько оленей и годовалого бизона. Накопали дикой картошки, репы и сладкого лука, запекли в костре. Животных освежевали, обрезали мясо с костей и бросили огромные куски прямо на раскаленные угли. Кости положили в огонь, а когда они треснули от жара, поливали костным мозгом печеный картофель. На десерт нашлись ягоды черемухи и лимонад из сумаха. Наелись все до отвала, но тут из костра достали бизоний горб, он весь сочился жиром и был таким нежным, что распадался на куски прямо в руках, – лучшее, что я ел с тех пор, как нас уволокли из дома. Едва подумав об этом, я вновь принялся тоскливо подвывать, но подошел Неекару и отвесил мне подзатыльник.

На закате стены каньона как будто вспыхнули в огне, а облака, плывущие над прерией, мерцали и переливались, подобно дыму, поднимающемуся от этого каменного пламени. Казалось, мы попали в кузницу самого Творца, где продолжается создание всего сущего.

– Урват завтра уезжает, – сказал Тошавей.

Все укладывались спать, меня связали, как и каждую ночь после смерти брата, – руки и ноги привязали к колышкам, вбитым в землю. Тошавей накрыл меня сверху шкурой бизона. Яркий блеск звезд не давал уснуть – Большая Медведица, Пегас, Змееносец и Дракон, Геркулес; со звездами медленно двигались по небосводу, метеоры оставляли длинные светящиеся полосы на темном небе.

Несколько индейцев возились с немками. На этот раз я старался не прислушиваться.

---

<sup>36</sup> Тропическое дерево со съедобными плодами, медонос.

Наутро принялись делить добычу – оружие, инструменты, лошадей, вообще все ценное, включая немецких девиц и меня. Старшая немка досталась людям Урвата, младшая и я – Тошавей. Девчонка рыдала, когда Урват увозил ее сестру, а к седлу его был приторочен скальп с длинными черными волосами, скальп моей матери. Подошел Неекару и залепил мне оплеуху. Я догадался, что это он просто привел меня в чувство.

Выбравшись наверх, к Льяно, мы весь день не видели воды. За пару часов до заката встали лагерем на крошечном песчаном пляже, со всех сторон скрытом густой травой. Не представляю, как индейцы сумели его отыскать, ведь даже с расстояния в сотню ярдов ничего не видно – равнина была настолько плоской, что, казалось, заметно, как земля закружается.

Тошавей и Неекару отвели нас с немкой к дальнему концу озера и, после того как мы вымылись, уложили животами вниз и вскрыли все мозоли и пузыри на коже, натертые безумной скачкой, а потом промыли раны отваром хинной коры. На ноги и ягодицы положили припарку из мякоти опунции с корнем эхинацеи. Сейчас, когда ее как следует отмыли, немка оказалась даже симпатичной, несмотря на солнечные ожоги и стертые в кровь ноги и задницу. Я даже прикинул, что с ней можно бы перепихнуться, но она не обращала на меня никакого внимания. Такая же задавака, как моя сестрица. Подумав так, я не смог на нее больше смотреть.

Индейцы обращались с ней, как с дорогой кобылой, кормили и поили, но наказывали и даже поколачивали, если она их злила. Мне и самому доставалось, но всегда поясняли за что. Тошавей и Неекару все время со мной разговаривали; показывая на разные предметы, повторяли слова, и я уже начинал понимать их язык: *naa* – вода, *тухейа* – лошадь, *техкаро* – есть, *тунецука* – иди.

Спустя несколько дней мы вышли к большой реке – наверное, Канейдиан. К тому времени ни меня, ни девчонку уже не связывали. Ехали мы медленно и спокойно, нас хорошо кормили, лечили наши раны, и даже лошади немного нагуляли жирку.

Индейцы подстрелили пару молодых бизонов, на этот раз печень для разнообразия запекли на углях вместе с мозговыми костями, а потом поливали мясо растопленным костным мозгом, как маслом. Тошавей подсовывал мне кусок за куском, а потом еще и свернувшееся молоко из телячьего желудка, которое с каждым разом казалось мне все вкуснее.

Проснулся я с мыслями об отце и о том, как он ни за что не сможет разыскать нас, даже при помощи следопытов. Нас не сумел бы выследить даже молодой индеец вроде Неекару. При каждом удобном случае команчи оставляли ложные следы, всякий раз меняли направление, выезжая на скальные участки, а если рельеф предполагал путь в определенную сторону, они обязательно ехали в другую. Наш путь удлинялся всего на несколько минут, а вот преследователи потеряли бы часы, отыскивая нас. Никогда в жизни мне не было так одиноко.

Я поднялся, индейцев нигде не было видно, но со стороны реки доносились голоса. Воины плескались в воде, отскребая присохшую грязь и старую боевую раскраску. Кое-кто уже обсыхал на солнышке, глядясь в маленькие зеркальца, стальными щипчиками, отобранными, должно быть, у белых, воины выщипывали всю растительность на лице. Покончив с этим, индейцы, поплеывая, смешивали киноварь и всякие другие краски со слюной, а получившейся пастой наносили новый рисунок. Сделав аккуратный пробор точно посередине, заплетали косы и тоже смазывали их красным или желтым. *Пуха набисаре*, пояснил Тошавей. Он, как и все, занимался прической. Настроение царило приподнятое, словно индейцы наряжались на костюмированную вечеринку.

Меня заставили чистить лошадей. Своих пони индейцы тоже раскрасили, двое юношей ускакали куда-то за холмы, да так и не вернулись.

Трофейные скальпы отмыли, вычистили и закрепили у наверхий копий. Скальп моей матери увезли другие, волос сестры я тоже не разглядел и решил, что ее тоже убили воины Урвата.

Нас с немкой впервые за последние дни опять привязали к лошадям. Южный берег Канейдиан, что влево от нас, – отвесная скала, к северу – отмели, дальше холмы, пологие и не очень. Двигаясь вдоль небольшого ручья, мы оказались в тени деревьев, а там встретились с целой процессией индейцев – сотни дикарей, разряженных, в расшитых кожаных штанах и куртках, в сверкающих медных браслетах и серьгах. Между лошадьми сновали вопящие и улюлюкающие голые мальчишки. Медленно продвигаясь вперед, мы добрались до центра толпы. Похоже на парад, каким встречали моего отца и всех героев, вернувшихся с войны. Женщины радостно окликали мужчин, все выискивали и приветствовали знакомых, а одна суровая старуха тащила шест с привязанными к нему скальпами. Некоторые из воинов тоже прикрепили свои трофеи к этому шесту. Дети от меня шарахались, зато взрослые не упускали возможности ущипнуть или больно стукнуть.

А потом я увидел селение. Бесчисленные *типи*, расписанные изображениями воинов и лошадей, солдат, пронзенных стрелами, обезглавленных, картинками с восходящим солнцем на фоне гор. Пахло необработанными шкурами и сырой плотью, повсюду торчали распялки, с которых, будто выстиранное белье, свисали ломти сохнувшего на солнце мяса.

Сквозь толпу протолкалась кучка разъяренных индейцев. Женщины завывали и голосили, мужчины гневно стучали древками копий по земле. Они попытались стащить меня с лошади. Тошавей не вмешивался, пока какая-то старуха не бросилась на меня с ножом. На немку при этом никто не обращал внимания.

Потом они долго обсуждали мою судьбу – рыдающие женщины считали, что мое будущее следовало определить одним коротким ударом ножа, Тошавей защищал свою собственность. Это, видимо, была семья человека, которого я застрелил, хотя единственным свидетелем моей вины был Тошавей.

Позже Неекару объяснил, что родственники убитого рассчитывали на трофеи от набега, а вместо этого получили весть о пуле в груди их воина. Они потребовали скальпы бледнолицых, но оказалось, что скальпы моей матери и сестры увезли на север Поедатели Собак, моего брата вообще не скальпировали, потому что он умер как герой, а я вообще ни при чем (ложь) и к тому же принадлежу Тошавею, а он не позволит испортить мне прическу. Тогда они спросили о скальпах, притороченных к его поясу, но это были свидетельства победы над солдатами в битве настолько великой, что делиться такой славой он ни с кем не намерен. Но может предложить пару ружей. Это оскорбление. Ну тогда лошадь. Даже пять лошадей были бы оскорблением. В таком случае он ничего не может им предложить. Они, в конце концов, знали об опасности, да и племя о них будет заботиться. Ладно, они возьмут лошадь.

Тем временем племя готовилось к празднику, потому что удалось захватить много трофеев – оружие, пони и прочие полезные вещи. Из семидесяти с чем-то лошадей большую часть Тошавей раздал воинам, участвовавшим в набеге, одну – семье погибшего, еще несколько – бедным семьям, которые просто попросили. Нельзя отказывать в подарке, если кто-то о нем просит. У него самого остались только две лошади и я. Жадный военный вождь оставил бы себе всю добычу, но зато статус Тошавея среди соплеменников укрепился, его все уважали.

Разобравшись с родственниками погибшего, Тошавей с Неекару и со мной направился к остальным *типи*. Я все так же был привязан к лошади. Из каждого *типи* выходили старые *скво* и норовили побольнее ущипнуть меня. Все вокруг болтали и смеялись. Я устал, связанное тело затекло, да еще было нестерпимо жарко; я не понимал слов, но наверняка говорили обо мне. Наконец мы добрались до жилища Тошавея. Здесь его ждали симпатич-

ные мальчишка с девочкой, видимо дети Тошавей, женщина лет тридцати, жена, и еще одна женщина постарше, вторая жена.

Когда все уже наобнимались, ко мне подошли три старика, отвязали и велели идти за ними. Мы побрели по деревне, мимо *тупи*, костров, распялок с сохнувшими шкурами и мясом, всюду было разбросано оружие, валялись инструменты. И все новые старухи выползали словно ниоткуда и пинали меня между ног. Меня тошнило от тревоги, страха, смрада гниющего мяса и роев навозных мух над всем этим. Потом появился молодой воин и ударил меня в челюсть. Я скорчился, защищаясь, но он почему-то не стал продолжать, а заговорил со стариками. У парня были голубые глаза, и я догадался, что он из белых. Поболтав со стариками пару минут, воин ушел прочь как ни в чем не бывало.

Старики присели рядом с чьим-то *тупи*. Солнце поднялось высоко, перед нами расстилались холмы, позади виднелся лес, вдалеке паслись лошади, несколько тысяч, наверное. Я, должно быть, задремал и очнулся, когда мне связали руки и перекатали на спину. Самый старый присел на корточки прямо над моей головой, от его штанов жутко воняло. Я был уверен, что меня сейчас вывернет наизнанку, и это тревожило куда больше, чем мысль о смерти, но тут появился Неекару, и я немного успокоился.

Старик отошел, что-то поворошил в костре, вернулся, опустился на колени и несколько раз проткнул мне мочки ушей раскаленным шилом. Неекару сидел на мне сверху, так что я не мог даже дернуться. В дырки проделали промасленные кожаные шнурки и отпустили меня.

Потом мне сунули кусок мяса из тех, что жарились на палочках вокруг костра, и лимонад из сумаха. Пока мы там сидели, подошла какая-то юная *скво*, обхватила меня, повалила на траву и принялась возиться со мной, как со щенком. Я не сопротивлялся, пока она таскала меня по земле, присаживалась сверху и тыкала лицом в грязную вонючую лужу. При этом она зажимала мне нос, так что я вынужден был открывать рот и плевать мутной жижей. Когда ей надоело, я вернулся к костру. Кто-то протянул мне тыкву с водой, умыться. Один из индейцев тем временем разогревал на маленькой металлической сковородке что-то вроде соуса – мед и жир, – помешивая его оленьей костью. Пахло даже вкуснее, чем сливочная подливка, но только мы начали есть, как появился Тошавей и что-то громко объявил.

Старики залопотали и затрясли головами. Я заметил, как к нам пробирается семья убитого мною воина, и понял, что они намерены вырыть топор войны.

Неекару ободряюще похлопал меня по спине, а потом меня поволокли к центру деревни. В землю был врыт здоровенный столб, к нему меня и привязали. Похоже, именно здесь творил свой суд местный Судья Линч. Трое подростков ходили кругами, помахивая пистолетами и время от времени прицеливаясь мне в голову.

Я думал, они вот-вот выстрелят, но, оказывается, ждали, пока соберется побольше народу. В скором времени почти все жители собрались у позорного столба; ребятишки сновали вокруг, подбрасывая к моим ногам ветки и куски дерева, пока куча не выросла мне до пояса.

Взвездя курки, подростки приставляли пистолеты к моим вискам, совали в рот. Я почувствовал, что живот сводит от ужаса. Какая-то старуха подскочила с огромным ножом, и я едва не обгадился, подумав, что сейчас с меня живьем снимут кожу, но обошлось несколькими царапинами. Все-таки я не смог сдержаться и громко пукнул, что всех страшно развеселило: теперь они точно знали, что я напуган.

Неекару стоял в первых рядах, молча наблюдая за происходящим. Он был ровесником моему брату, высокий и неуклюжий, помощи от него не дождешься. Старуха отошла в сторону, а один из подростков, тщательно прицелившись, спустил курок. Раздался выстрел, струя воздуха ударила мне в лицо, но пули в стволе не было. Двое других тоже выстрелили вхолостую. Подскочил мальчишка с факелом в руках, делая вид, что собирается запалить костер. Я поощрительно кивнул ему, и парнишка все же поджег дрова. Волосы у меня между

ног начали потрескивать, и я уже готов был просить пощады, но тут подошел Тошавей и расшвырял занявшиеся ветки.

Тошавей произнес целую речь перед соплеменниками, смысл которой сводился к тому, что я не испугался ни костра, ни пули. Индейцы ценили такое отношение к жизни, и некоторые из них даже одобрительно похлопывали меня по спине, когда я возвращался в *типи* Тошавей. Его жены промыли мои царапины и ожоги, умыли лицо и переодели в чистое. Но прежде я все-таки сбегал в кусты, избавиться от злого духа.

Вечером начался праздник. Некару потом рассказывал, что обычно так не делается, если во время набега погиб воин, но сейчас так вышло, что никто не любил эту семью, и люди надеялись, что они уберутся куда-нибудь подальше.

Жарили оленину, лосятину, мясо бизона, куропаток и сурков, крупные кости бросали в огонь и горячим костным мозгом поливали мясо или смешивали его с медом и мескиновыми стручками. А еще были картофель и лук, кукурузные лепешки и тыквы, вымеченные в Нью-Мексико. Команчи торговали с Нью-Мексико и с людьми из Форт Бент на реке Арканзас, покупали почти все: кукурузу, тыквы, белый и коричневый сахар, тортильи и сухари, оружие, порох, свинец, формы для отливки пуль. Узду для лошадей, капсюли, стальные ножи, топоры, одеяла, ленты, льняные ткани, цепи и ружейные винты, наконечники для стрел и копий, обручи для бочек, уздечки, стальную и медную проволоку, золотую нить, колокольчики разных размеров, переметные сумы, железные стремяна, медные горшки, зеркала и ножницы, индиго и киноварь, стеклянные бусы и вампумы, табак и кресало, щипчики, гребни и сушеные фрукты. Команчи были самым богатым индейским племенем, половину своей добычи они тратили на дешевые побрякушки, но вовсе не гонялись, как теперь пишут некоторые, за тряпками белых вроде цилиндров, чулок или свадебной фаты.

Когда все наелись до отвала, старейшины начали танец. Они вызвали из толпы воина и вручили ему шест с привязанными скальпами. Воин поведал историю своих подвигов и вызвал следующего. Тот, подхватив шест, рассказал о своем геройстве и передал шест другому. Солгать здесь нельзя, иначе будет проклято все племя; но вот настал момент, когда очередной воин не мог рассказать истории лучшей, чем его предшественники, и тогда он начал танцевать. Воины присоединялись один за другим, образуя огромный движущийся круг. Я молча наблюдал. Меня отмыли дочиста, раскрасили как индейца, одели. Три старика выщипали мне брови и несколько волосков на подбородке и над верхней губой. Грохотали барабаны, индейцы в ритм стучали ногами; меня вытащили в круг, вручили шест со скальпами и поставили впереди всей цепочки воинов. Спустя несколько минут я попытался передать шест воину, стоявшему сразу за мной, но он сунул его мне обратно. Барабаны стучали все быстрее, закатное небо полыхало красным, я видел жен убитого мною воина, видел, что они не двигаются с места, и понял, что ритуальный шест служит мне защитой. Пока он у меня в руках, меня никто не тронет. Прошло несколько часов, взошла луна, я едва держался на ногах, ступни горели от непрерывного притоптывания, плечи ныли, но индейцы не выпускали меня из круга; они ухали, хрипели, рычали, подражая реву бизонов и медведей, пантер, оленей и лосей.

Проснулся я в темноте. Под одеялом. Над головой маленький кружок темного неба, под боком мерцают угли остывающего костра, кто-то тихо посапывает. Мир и покой. Я лежал в *типи* на мягкой подстилке из шкур; меня снова вымыли, смазали маслом и перевязали раны, согрели и укутали в мягкое одеяло. Рядом со мной спокойно спал какой-то человек, а мне стало как-то не по себе. Истоиво верующие говорят, так бывает в момент обращения: ты думаешь, что мир устроен эдак, а потом поднимаешь голову – и оказывается, что ты во всем ошибался.

Я поднялся и вышел на воздух. Звездное небо, а вокруг, сколько хватает глаз, *типи*, гаснущие костры, вокруг них еще сидят люди, о чем-то тихо переговариваются. Женщины льнут к своим мужчинам, дети спят рядом с родителями. Из одних *типи* доносится храп, из других – хихиканье, а в некоторых слышен томный женский стон; где-то стонали так долго, что я разволновался, а потом вспомнил, как слышал такие же звуки, доносившиеся с родительской кровати, и как даже несколько раз представлял, что занимаюсь этим со своей сестрой, и сейчас мне было ужасно стыдно за это, гораздо больше, чем в прежние времена.

Кто-то из мужчин пошевелился во сне – или Неекару, или Эскуте, сын Тошавей. Я решил, что обязательно отыщу Урвата и остальных Поедателей Собак, сорву с них скальпы, и они будут свисать с седла моей лошади и десятки миль волочиться по земле.

А Тошавей и его семья – он спас меня и пытался спасти моего брата. Может, он спас бы и мою мать, и сестру, если бы знал их чуть лучше. Но у индейцев свои законы, так же как и у нас. Мы с отцом однажды заметили пару беглых рабов, собиравших орехи под нашими деревьями. Мое ружье дало осечку, а отец промахнулся, выстрелил на несколько ярдов выше. Странно, потому что до ниггеров было меньше ста шагов, а отец – лучший стрелок в округе. Они бросились наутек. Я тогда предложил позвать Руфа Перри с его псом, натасканным на черномазых, но отец сказал, что собирается дождь, а нам еще осталось несколько грядок прополоть. Я спросил, куда направились рабы, а он сказал, в Мексику, наверное, или к индейцам, те, мол, принимают всех, согласных жить по их законам. Я удивился, как они могут терпеть рядом с собой ниггеров? А он сказал, что многие люди на такое соглашаются. Я очень жалел, что ружье дало осечку, а отец сказал, что когда-нибудь я буду благодарен даже за небольшое сострадание.

Я долго еще слушал мирное дыхание Неекару и Эскуте, пока наконец не заснул сам.

## Восемь Дж. А. Маккаллоу

Она вновь девчонка, катается на американских горках, но что-то пошло не так – вагончики мчатся все быстрее, и на самом верху весь поезд срывается с рельсов. И вот она летит в воздухе, а вот уже лежит на земле. *Это очень серьезно*, успевает она подумать, глядя, как вагончики начинают медленно падать прямо на нее.

А теперь она в пустыне. Самая грандиозная в жизни операция по гидравлическому разрыву пласта, инженер по разливу нефти – это почти как дирижер оркестра; нефтепровод заполнен, давление двенадцать тысяч фунтов на квадратный дюйм, и тут лопнуло соединение. Гигантская стальная труба извивалась, точно змея. Глаза слезились, она смотрела прямо на солнце, спасатели на подходе, но это ничего не изменит. *Да*, подумала она, *вот так оно и случается*.

Она открыла глаза. Здесь определенно кто-то был раньше. Наверное, ушел за помощью. Она рассматривала тлеющие в камине угли, ковер, на котором лежала, римские бюсты. И грезила.

Интересно, какой ее запомнят. Она не расшвыривала, подобно Карнеги, деньги направо и налево, дабы стереть воспоминания о грехах, связанных с ее именем. Это ей не удалось, она не сумела сорвать свою золотую ветвь. Либералы порадуются ее смерти. Выкурят по косячку с марихуаной, поедут в суси-бар обедать свежайшим салатом, проделавшим восемь тысяч миль. И весь вечер будут проклинать таких, как она, а потом вернутся в свои холодные квартиры и нажмут кнопку обогревателя. Не переставая клеймить нефтепромышленников.

Все убеждены, что Генри Форд возвестил начало автомобильной эры. Ложь. Телега впереди лошади. Век автомобиля начался в Спиндлтоп<sup>37</sup>, а Говард Хьюз и его буровая установка – вот кто истинный творец новой эпохи. Современный мир родился из скважины Лукас<sup>38</sup>, когда люди внезапно осознали, сколько нефти хранится в недрах планеты. Прежде бензин был всего лишь дешевым растворителем, пригодным для промывки шестеренок и велосипедных цепей, а нефть, сделавшая Джона Рокфеллера миллионером, была сожжена в лампах, заменяя тюлений жир. Именно Спиндлтоп и Хьюз открыли путь автомобилям, грузовикам и самолетам, которые зависели от дешевого топлива так же, как Церковь зависит от Бога.

Она все сделала правильно. Создала империю из ничего. Человеческая жизнь стала вдвое длиннее, но без нефти вы не доберетесь до больницы, лекарства, которые вас исцеляют, не произвести без нефти, ваша еда не доедет до магазина, а трактор так и останется в фермерском сарае. Она находила под землей нечто бесполезное, но, оказавшись на поверхности, это нечто обретало ценность. Это и есть творчество. Вся ее жизнь – акт творения.

Она не была одинока в создании нового мира. Предприниматели построили эту страну, а нефтепромышленники заставили крутиться ее шестеренки. Теперь у руля остались одни нефтепромышленники. Предприниматели или те, кто сейчас так себя называет, живут разрушением, они останавливают свои заводы и переносят производство за границу. Она и не ждала всеобщей любви, но есть ублюдки и ублюдки; эти уроды разрушали страну камешек за камешком. Если она и ненавидела что-либо больше, чем профсоюзы, то именно их, людей, которые не умели работать.

---

<sup>37</sup> Первое нефтяное месторождение в Техасе, открытое в 1901 г.

<sup>38</sup> Первая нефтяная скважина, с которой начался нефтяной бум в Техасе.

Воспоминания хлынули потоком. Они с отцом бывали в домах его мексиканских работников. Женщины словно из прошлого века: беременная тащит ведра с водой из дальнего колодца, помешивает белье, вываривающееся в огромном котле над очагом. В самое жуткое летнее пекло они готовили консервы из овощей и фруктов – а в хакале<sup>39</sup> было еще жарче, чем на улице. Мужчины, сидя в тени, скручивали веревки из конского волоса. *Почему они не купят веревки в магазине?* – спросила она отца, но тот промолчал.

Когда идешь по пастбищу задолго до рассвета, приходится все время припадать к земле, чтобы разглядеть лошадей на фоне темного неба. Руки, бросающие лассо, седлающие пони. Фыркание лошадей, щелчки застегивающихся подпруг, голоса, по-испански успокаивающие животных. Одни лошади смирялись сразу же, другие становились на дыбы, брыкались, не желая проводить день на солнцепеке, в скачке по колючим зарослям. У многих от холки до копыт почти не осталось шерсти, сплошные рубцы – все ободрано в чапарале.

Заунывный скрип ветряных мельниц; они с Полковником опускаются на колени, изучая свежие следы на влажной земле около резервуаров с водой. Корова, олень, лисица, пекари, кролик, зайцы, мыши, енот, змеи, индюк, рысь. Если замечали следы пумы, тут же являлись отец с братьями и при них старый мексиканец с собаками. В какой-то момент, она не помнит точно когда, Полковник начал тщательно разглаживать ладонью каждый след пумы, попадавшийся им на пути. *Никому не рассказывай.* Мир взрослых держался на тайнах. Отец и братья высмеивали ее, когда она говорила, что хотела бы увидеть живого волка или медведя. Только в зоопарке, сказал отец. А еще лучше, чтобы их вообще не было.

И каков урок? Половина родных ушла из жизни безвременно. Эта земля жестока к своим сыновьям, хотя к сыно вьям других земель она еще более жестока. Бабушка однажды сделала широкий жест по отношению к мексиканцам – *относись к ним, как к койотам.* Она вспомнила о братьях, убитых немцами, о дяде Гленне, разорванном в клочья взрывом в окопе.

Еще двенадцать лет назад она пыталась уйти. Как быстро пронеслось время: вот она совсем девчонка, присевшая на корточки у резервуара с водой, а вот ее собственные дети уже начинают стареть. Она не совершенна, да, но она хотела бы что-то исправить, хотела увидеть своих внуков. И была такая возможность. Но нефть пошла вниз, стала дешевле воды, за аренду участков предлагали жалкие крохи от реальной стоимости. Она понимала, что у нее последний шанс наладить отношения с семьей. Но продавать за бесценок, заканчивать бизнес фактически на дне – от одной мысли становилось дурно.

А потом арабы устроили бойню в Нью-Йорке. И ей понадобились новые скважины и много буровых установок. У детей своя жизнь, она им не нужна, а цены на нефть поползли вверх. Буровые вышки там, где прежде была лишь пустыня, нефтяной фонтан, бьющий из глубин земли, из скважины, на которой все уже поставили крест, – вот ради чего она жила. Создать нечто из ничего. Акт творения. А для семьи время еще будет.

<sup>39</sup> Мексиканская хижина с плоской соломенной крышей (*исп.*).

## Девять Дневники Питера Маккаллоу

13 августа 1915 года

Память – это проклятие. Прикрывая глаза, я вижу мертвое лицо Педро и кровоточащую дыру на щеке Лурдес, и по лицу ее стекает прозрачная капля, словно слеза. Окровавленное платье Аны. Стоит уснуть, как я мгновенно оказываюсь в той комнате. Педро сидит на кровати и говорит что-то на непонятном языке, указывая пальцем на меня. Подойдя ближе, понимаю, что звук исходит из дыры в его виске. Проснувшись, я долго лежу неподвижно, надеясь, что сердце вдруг остановится, как будто смерть может избавить меня от участия в этом кошмаре.

То, что произошло у Гарсия, стало лишь началом. В городе появилось около сотни никому не известных вооруженных людей; у них ружья, дробовики, и вообще все выглядит так, словно нас отбросило на полвека назад и никакого города не существует. Ночью убили Амадо Батиста, его лавку разграбили и пытались поджечь.

Во всех газетах пишут о Гарсия как о мексиканских радикалах, на самом же деле они были самыми консервативными из землевладельцев в Округах Уэбб и Диммит. Фото их мертвых тел напечатано в каждой газете штата и в Мексике, где их, безусловно, причислят к лику мучеников, несмотря на то что старую аристократию там недолюбливают.

Гленн все еще в Сан-Антонио, в больнице. Ни он, ни Салли никак не отреагировали на вести о расправе с Гарсия. Может, я схожу с ума, или не люблю свою семью, или, напротив, люблю их слишком сильно. А может, я просто единственный, кто сохранил здравый рассудок.

Меж тем меблированные комнаты заполняются самым отпетым отребьем из долины Рио-Гранде, а рейнджерам все труднее поддерживать порядок. Я предложил сержанту Кэмпбеллу (а может, это он застрелил Педро и Лурдес? или это был мой сын?) послать за его людьми, но все они сейчас заняты патрулированием границы и охраной отдаленных ранчо.

Кэмпбелл, несмотря на свою ограниченность, обеспокоен тем, что половина погибших – женщины и дети. Я не стал обсуждать с ним эту тему. Люди его типа полагают, что если раз за разом исповедоваться в грехах, то можно сделать бывшее небывшим и облегчить душу для новых преступлений.

В доме полно добровольцев. Я сбежал было от них в город, где немедленно наткнулся на два грузовика, в каждом из которых сидело по дюжине вооруженных парней, намеренных поквитаться с мексиканскими инсургентами. Я сообщил им, что всех врагов уже поубивали. Добровольцы разочарованно посовещались между собой, но решили все равно остаться в городе: нельзя терять надежды.

Вернувшись, застал судью Пула, который поедал нашу говядину, пил наш виски и делал заявления от имени всех присутствующих. Я рассказал ему свою версию событий – *только факты*, – он несколько раз поправлял меня: *это ваша интерпретация*. Потом отвел меня в сторонку, подальше от остальных.

– Это чистая формальность, Пит. Чтобы никто не подумал, будто я встаю на сторону нелегальных иммигрантов.

Чуть не сказал ему, что нелегальные иммигранты – это *мы*, переправившиеся вплавь через Нуэсес столетие спустя после того, как Гарсия поселились здесь. Но разумеется, про-

молчал. Судья похлопал меня по спине – лапищей убийцы – и вернулся за новой порцией дармового бифштекса.

Люди все подъезжали, привозили пироги, жареное мясо, сладости и крайне сожалели, что не успели вовремя к нам на помощь, – какие мы герои, штурмовали проклятых мексиканцев таким небольшим отрядом. То есть семьдесят три против десятирех. Пятнацати, если считать женщин. Девятнадцати, если считать и детей.

*14 августа 1915 года*

Салли спросила, почему я до сих пор не навестил Гленна в больнице. Я объяснил:

– Вчера в городе сожгли три дома и убили восемь жителей – все мексиканцы, кроме Левеллина Пирса, у которого жена мексиканка.

Сержант Кэмпбелл подстрелил по меньшей мере троих мародеров, хотя двоим удалось скрыться. Один убитый оказался из Игл Пасс. Бандитов застукали в тот момент, когда они поджигали дом Кустодио и Адриана Моралесов. Сами Моралесы к тому моменту были уже мертвы. Я вспомнил, как Кустодио любил наших лошадей, а за ремонт упряжи всегда брал сущие гроши. Целых двадцать лет я собирался позвать его на конную прогулку.

Кэмпбелл по секрету рассказал, что один из его людей отказался стрелять в бандитов, потому что те белые. Помощника шерифа нашли мертвым, но подробности неизвестны.

Кэмпбелл опять телеграфировал насчет подкрепления, но ему ответили, что все люди сейчас заняты гораздо более серьезными проблемами на Юге.

– Надо что-то делать с этими мексиканцами, – заявил он мне. – Здесь становится небезопасно.

Безопасность Гарсия его отчего-то не беспокоила. Я промолчал, но, надеюсь, он все понял по выражению моего лица.

– Мы должны защитить мир от всех, кто на него посягает, – продолжил Кэмпбелл. – И неважно, какого цвета их кожа.

Несколько семей теханос – Альберто Гонсалес, Клаудио Лопес, Ханерос, Сапинос, Урракас – уехали из города, прихватив весь скарб.

Кэмпбелл думает, что сегодняшняя ночь будет хуже минувшей. Людей у него раз в пятьдесят меньше, чем у противника.

– Раньше все говорили, надо бы вооружить нас пулеметами, – сказал он. – Вот сейчас самое время. А что вы думаете насчет шерифа Грэма?

– Думаю, он огорчится, если пропустит разгул грабежей в городе.

– Вот и я так думаю.

Мы помолчали. С террасы открывался прекрасный вид на окрестности.

– Каково это – владеть всем этим? – спросил он.

– Откровенно говоря, не знаю.

Он кивнул, словно ждал именно такого ответа.

– Не хотите прихватить с собой что-нибудь перекусить?

Он не ответил. Мы одновременно посмотрели в сторону города, но отсюда его не было видно.

– Ваш старик – это нечто, скажу я вам.

– Он вообще правильный, да.

– А мой отец умер.

Я почему-то подумал, что парень имеет к этому отношение. Но все равно он мне нравился. Росту не больше пяти футов в башмаках, а все в городе его побаиваются.

– Что намерены делать ночью?

- Подстрелить побольше народу.
  - Не самый удачный план.
  - Ничего не попишешь, такое время.
  - И большой у вас опыт в этом деле?
  - В Бомонте я убил двоих. Но здесь у вас, можно сказать, сезон охоты.
- Пауза.
- Как вы это делаете?
  - Просто надо хорошо прицелиться.

*15 августа 1915 года*

Ночью из моего окна виднелось зарево нескольких пожаров; стреляли редко, но постоянно.

К утру бежала еще дюжина мексиканских семейств – видимо, решили полагаться только на себя. Еще четырнадцать трупов, шестеро – белые. Кэмпбелл признался по телефону, что это он накануне пристрелил помощника. Тот нацепил его значок и грабил чей-то дом.

Мы с Чарлзом поехали в город и по пути наткнулись на *техано*, повешенного на дубе.  
– Это Фульгенсио Ипина, – вздохнул Чарлз.

Мы остановились, Чарлз забрался на дерево, обрезал веревку. Мы как могли аккуратно уложили тело в кузов грузовика. Фульгенсио много лет работал у нас на расчистке пастбищ. Тело уже начало раздуваться.

- Кто будет хоронить всех этих людей? – спросил Чарлз.
- Ума не приложу.
- А что, армия на подходе?
- И этого тоже не знаю.
- Надо позвонить дяде Финеасу.
- Он уехал на рыбалку.
- Слушай, ты должен что-то сделать.
- Например?
- Понятия не имею. Но ты обязан.

На улицах пусто. Повсюду развешены объявления, написанные от руки:

КАЖДЫЙ, КТО ПОЯВИТСЯ НА УЛИЦЕ ПОСЛЕ  
НАСТУПЛЕНИЯ ТЕМНОТЫ (ВКЛЮЧАЯ БЕЛЫХ), БУДЕТ РАССТРЕЛЯН.  
РАСПОРЯЖЕНИЕ ТЕХАССКИХ РЕЙНДЖЕРОВ.

Кэмпбелл опять ранен, на этот раз в ногу, в икру. Когда мы вошли, он сидел на стуле в конторе склада, босой и со спущенными штанами.

– Что же, по крайней мере, люди стреляют вам только по конечностям, – пошутил я. Нога выглядела неплохо – пуля не задела кость и артерию.

Кэмпбелл внимательно наблюдал за доктором:

– Ранения в руку происходят, когда вы держите руки перед грудью, прицеливаясь. А ногу мне зацепило, потому что, когда я подстрелил вчера парня, он успел разрядить в меня ружье, уже падая.

Он смотрел на меня, как старший.

– Передайте всем мексиканцам в городе, что они могут укрыться на моем ранчо, – предложил я.

– Да, мне будет гораздо легче.

Но похоже, сержант не слишком одобрял такие меры. И глаз не отводил от Гильермо Чавеса, городского ветеринара, который в свои двадцать пять унаследовал практику от отца. Чавес как раз снимал повязки с руки и ноги.

– Кто вас бинтовал?

– Я сам. А ты настоящий врач?

– В основном для животных.

– И диплом есть?

– Взгляните на меня и попробуйте догадаться.

– Твою ж мать... – буркнул Кэмпбелл.

– Я рад, что вы здесь, – сказал Гильермо. – Ни за что бы не подумал, что скажу такое *rinche*<sup>40</sup>.

Кэмпбелл проигнорировал выпад:

– Что будет, если кости так и сростутся?

– Будут проблемы с рукой, – пожал плечами Гильермо. – Но рана действительно плохая, вот эти темные пятна надо удалить.

– Иначе я потеряю руку? – Голос дрогнул, и внезапно я увидел Кэмпбелла, каким тот был на самом деле – напуганным двадцатилетним юнцом, но маска так же быстро вернулась на место.

– Постоянно присыпайте рану этим порошком. Когда он намокнет и станет липким, добавь еще свежего. В ране всегда должен быть сухой порошок.

– Похоже на желтый сахар.

– Это смесь сахара и сульфамида.

– Обычный сахар.

– Надежное средство. Даже просто сахара было бы достаточно.

– Как-то это глупо выглядит.

– Делайте как знаете, мне все равно. Ваши товарищи в округе Старр убили моего двоюродного брата, в Браунсвилле – дядю и его сына, а я здесь, лечу вас.

– Ложка дегтя в бочке меда... – заметил Кэмпбелл.

– Скажите это Альфредо Серда, или Грегорио Кортесу, или Педро Гарсия. Или их женам и детям, тоже мертвым. Ваши люди явились сюда и мутят воду, потом приходит армия и наводит порядок. Но это очевидные вещи. Не предмет для дискуссий.

Кэмпбелл пошевелил пальцами, проверяя, может ли по-прежнему сжимать винтовку.

– А морфин у тебя есть? – спросил он у Гильермо, а мне сказал: – Мы не сможем вам заплатить за использование ранчо.

– Когда подойдет армия?

– Никогда.

– Что ж... один повстанец, один рейнджер.

– Именно так. Пока есть хоть один рейнджер.

Салли пришла в ярость, узнав, что я пригласил в наш дом всех городских мексиканцев, и тут же потребовала, чтобы я позвал к телефону Консуэлу. Я слышал, как она отдавала распоряжения Консуэле, чтобы спрятали все серебро и убрали подальше дорогие ковры. Потом Консуэла вернула трубку мне.

– Что с тобой происходит, Питер?

– Эти люди погибнут, если не дать им убежища.

Она молчала. Я попытался ее успокоить:

---

<sup>40</sup> Рейнджер (искаж. исп.).

– С Гленном все будет в порядке.

– Ты не смеешь так говорить, – сухо бросила она. – Ты не можешь этого знать, тебя нет рядом с сыном.

Я надеялся, что мексиканцы переберутся к нам потихоньку, но в сумерках половина теханос, почти сто человек, потянулись в сторону ранчо – пешком, верхом, на машинах; они везли, тащили, толкали и тянули свое барахло – на повозках, тележках, тачках или просто на спине. Мидкифф и Рейнолдс без всяких просьб прислали людей, чтобы защищать мексиканцев. *Чтобы защитить наше ранчо*, поправил меня Полковник. *Не будь идиотом.*

Кэмпбелл лично явился проверить обстановку, привел еще восемь человек (хотя законного права привлекать кого-то у него не было) и, сильно прихрамывая, поплелся обратно в город, придерживая руку на перевязи. Он умудрился где-то раздобыть винчестер 351-го калибра, с которым можно управляться одной рукой. Я не стал спрашивать, каким образом ему досталось это оружие. Мы заперли ворота ранчо, задвинули засовы, а Чарлз с ваке-рос окопались у дороги.

## Десять Илай / Тиэтети

1849 год

Команчи котсотека жили в долине реки Канейдиан, где заканчивается Льяно и засушливые равнины переходят в травянистые каньоны. Исторически их земли простирались до самого Остина; Тошавей права моей семьи были известны лучше, чем мне самому. Техасцы подписали договор, который гласил, что к западу от города не будет никаких новых поселений, но они были из той породы людей, что запросто нарушили свои обещания, когда те начали доставлять неудобства.

– Однажды появилось несколько домов, – рассказывал Тошавей. – Бледнолицые начали рубить деревья. Конечно, мы не возражали, как и вы не стали бы возражать, если бы кто-то вломился в ваш дом, распорядился вашим имуществом, угрожал вашей семье. Но может, я чего-то не понимаю. Может, у белых другие порядки. Может, если у техасца отбирают дом, он говорит: «О, простите, что я построил этот дом, вижу, он вам нравится, так забирайте его вместе со всеми землями, которые кормят мою семью. А я ведь просто *кахуу*, мышонок. Позвольте, я покажу вам, где лежат мои предки, чтобы вы могли выкопать их и осквернить их могилы». Как думаешь, он так и сказал бы, а, Тиэтети-тайбо?

Это мое новое имя. Я покачал головой.

– Верно, – продолжал Тошавей. – Он убил бы людей, которые отобрали его дом. И сказал бы им: *Итса не кахни*. А теперь я вырву ваше сердце.

Мы валялись в тополиной роще над долиной Канейдиан. Трава здесь густая, бородач веничный и все остальное, что нравится лошадям, но ее здесь столько, что им вовек не съесть. Солнце садилось, сверчки пиликали на своих скрипках, птицы затеяли скандал в ветвях над нами. На нашем берегу камыш словно полыхал в закатном свете, а за рекой, дальше к югу, в той стороне, где лежали поселения белых, уже сгущалась тьма. Я вспомнил, как злился на брата, когда он читал при свечах и мне приходилось отправляться спать на улицу.

Тошавей продолжал рассказ:

– Но мы же не безумцы, мы помним, что эта земля не всегда принадлежала команчам, много лет назад мы отобрали ее у тонкава. Нам понравились эти места, мы перебили тонкава и захватили их владения... Теперь они считают нас *тавохо*, врагами, и убивают повсюду, где встретят. Но бледнолицые совсем другие, они забывают, что все на свете уже кому-то принадлежит. Они думают: *о, я белый, значит, это должно быть моим*. И ведь правда верят в это, Тиэтети. Ни разу не видел бледнолицего, который не удивился бы, когда его убивают. – Он недоуменно пожал плечами. – Я вот, если взял чужое, знаю, что в любой момент может прийти хозяин и убить меня, и знаю песню, которую спою, когда буду умирать.

Я согласно кивнул.

– Я что, сумасшедший, если думаю так?

– *No se nada*<sup>41</sup>.

– Нет, я совсем не сумасшедший. Это бледнолицые безумны. Все хотят быть богатыми, и мы тоже, но бледнолицые не хотят признать, что разбогатеть можно, только отбирая у других. Они думают, если ты не видишь человека, у которого украл, или не знаком с ним, или он не похож на тебя, тогда это вовсе не воровство.

<sup>41</sup> Нет, несколько (*исп.*)

Медведь спустился к реке, стайка чирков устроилась у дальней запруды. Не прерывая плетения волосяного аркана, Тошавей произнес:

– *Мууви*<sup>42</sup>.

– *Мууви*, – послушно повторил я.

– Я давно наблюдал за тобой, Тиэтети. Твой отец дважды замечал меня, но убедил себя, что ему показалось. Я видел, как твоя мать кормила жалких голодных индейцев, которые приходили просить подаяния. Я видел, как ты выслеживал оленя по следам и как в тот самый вечер застрелил большого *темакуна*<sup>43</sup>. – Он печально вздохнул. – Но Поедатели Собак почувляли запах вашей еды, а когда я сказал им, что знаю семью, живущую там, что они бедные люди, *набукуваате*, они закричали, что бедняки так сытно не едят. И Урват решил сам проверить.

Я смотрел на далекие холмы и видел за ними мать, лежащую на пороге дома, растерзанную сестру, брата в каменистой яме. Может, это брат с сестрой привлекли к нам внимание индейцев, подумал я. Потом представил, каково бы ей пришлось, доведись вытерпеть все, что досталось мне. Мама, наверное, справилась бы, а вот сестра... Она точно зачахла бы, решил я. Она совсем не готова была к такой жизни.

Потом я подумал об отце. И вычеркнул его из памяти. С его именем не связано теперь ничего, кроме стыда и позора.

– *Мууви*, – решительно произнес я.

– *Мууви*, – одобрительно повторил Тошавей.

Тошавей и сам не знал, сколько ему лет. На вид около сорока. Высоколобый, как все чистокровные команчи, с широким носом и квадратной головой, пешком он двигался неуклюже, как старый ковбой. Но посади его верхом – и словно другой человек. Все команчи были превосходными наездниками, но не все похожи на Тошавей: смуглые или светлокожие, долговязые, как каранкава<sup>44</sup>, или жирные, как банкиры, с чертами лица, будто вырубленными топором, или точеными, как у испанских грандов, – самая причудливая смесь. В каждом из них текла кровь пленников – индейцев из других племен, испанцев, а с недавних времен еще американцев или немцев.

Поднимался я до зари, если не хотел, чтобы меня выпороли. По росистой траве брел к реке, приносил воду, разводил огонь. И весь день вынужден был заниматься женской работой. Толок зерно в ступе, свеживал дичь, добытую мужчинами, опять таскал воду, ходил за дровами. Команчи пользовались кремнем и кресалом, как белые, но меня заставляли добывать огонь древним способом: берешь палочку юкки и крутишь ее между ладонями, прижимая одним концом к кедровой дощечке. Прижимать надо сильно, а крутить долго, пока деревяшка не начнет тлеть или пока не сотрешь в кровь ладони. Уголек получается размером с булавочную головку и обычно гаснет, прежде чем поднесешь его к пучку соломы или труту.

Эскуте и Неекару целыми днями валялись без дела, спали, курили или играли, если, конечно, не охотились. Если я пытался заговорить с ними, на меня не обращали внимания или сердито прогоняли, но это не сравнить с тем, как колотили меня женщины.

Когда все хозяйственные дела были переделаны, меня отправляли обрабатывать *таа сивуу ехе* – накидки из бизоньих шкур. Это все равно как печатать деньги на ручном станке. На каждую шкуру уходит не меньше недели. Ее можно обменять на пригоршню стеклянных бус, а потом из этой шкуры сошьют плащ для солдата, который будет воевать с такими же

---

<sup>42</sup> Вережка, лассо (ком.).

<sup>43</sup> Волк, пума (ком.).

<sup>44</sup> Каранкава (любители собак) – племя, обитавшее на побережье Техасского залива, одомашнили койотов.

индейцами. Или, к примеру, бизоньи шкуры отлично смотрелись на диванах в гостиных Бостона и Нью-Йорка, где, отмытые от своего грязного туземного прошлого, они символизировали единение с природой.

Но это все женская работа. Если Тошавей звал меня куда-нибудь, все остальные дела нужно было бросить. Иногда он приказывал поймать и оседлать ему лошадь, иногда – раскурить трубку или нанести праздничную раскраску для вечерних плясок. Когда он возвращался после набега, я подолгу вычесывал у него вшей, вскрывал нарывы, готовил еду, выщипывал ему волосы на лице и подновлял раскраску. Даже моя сестрица никогда не прихорашивалась так подолгу, как Тошавей. Он часами разглядывал себя в зеркальце, разрисовывая тело, расчесывал свои длинные волосы костяным гребнем, смазывал свежим жиром и заплетал косы, украшая их мелкими монетками и клочками меха.

А еще меня отправляли собирать съедобные растения. Плоды *воквееси* (опунции), *теати* (дикой сливы) и *тунасека* (хурмы), стручки *уохи хуу* (рожкового дерева), *кеека* (дикий лук), *паапаси* (дикий картофель) и *мутси натсамукве* (дикий виноград). Нож, пистолет и даже лук брать с собой нельзя, только палку, чтобы копать. А вокруг полно следов волков, медведей и пумы.

Ни один белый, даже ирландец, не стал бы целый час рыть землю ради пригоршни мелкой картошки, но я-то понимал, что еще легко отделался. Я был сыт, холодными ночами согревался у огня, а рядом спокойно спали другие люди. Могло сложиться и так, что над моей могилой уже шелестела бы молодая травка, а дорога в рай стала бы скользкой от моей крови.

Все ждут, что я начну рассказывать, как внезапно осознал сходство между собой и чернокожими, которых мои соотечественники держали в рабстве, но, к сожалению, ничего подобного мне не приходило в голову. Я беспокоился только о себе. Я был вроде пустого сосуда, который нужно наполнить какой-никакой пищей и редкими милостями, перепадающими от индейцев; ковылял по жизни, пробираясь через очередной день, и не ждал ничего кроме лишнего куска еды, случайного доброго слова или нескольких минут покоя.

А что до побега, так между этим селением и цивилизацией простиралось восемьсот миль засушливой прерии. Первый раз меня поймали ребяташки. Во второй раз – сам Тошавей, и отдал своим женам. Они в компании со своими мамашами поколотили меня до полу-смерти, разрезали мне ступни, а потом еще долго совещались, не выколоть ли мне глаз, для надежности. Я понял, что следующая попытка артачиться станет последней.

Шкура выделывается так: расстилаешь ее на траве, шерстью вниз, растягиваешь и закрепляешь кольшками. А потом опускаешься на колени и принимаешься скрести, тупым обломком кости отскабливаешь жир, остатки мяса, прочую дрянь. Если скребок слишком острый или ты скоблишь неаккуратно, можно проткнуть шкуру насквозь, а значит, испортить ее – за это побьют.

Отскоблив сколько можно, я посыпал очищенные места древесной золой, чтобы щелок размягчал жир; в перерывах меня посылали за водой, за дровами или заставляли свежевать и разделять оленей, которых притаскивали с охоты мужчины и юноши. Единственное, чего я не делал, – не шил и не чинил одежду, хотя, пожалуй, женщины и этому меня научили бы. Они не поспевали за нуждами мужчин, которым постоянно требовалось то одно, то другое: новая пара мокасин или штанов (одна бизонья шкура); теплый плащ из медвежьей шкуры (две шкуры); волчий плащ (четыре шкуры). Шкуру приходилось разрезать, чтобы подогнать по размеру и форме тела человека, а поскольку на обработку одной-единственной оленьей или волчьей шкуры уходил целый день, оплошности здесь не допускались.

Женщины мастерили все инструменты, которыми пользовалось племя: топоры, шилья, иглы, мотыги, скребки, ножи и ложки. Кроме того, они плели веревки, нити, лассо, шнуры.

Племенн нужны были целые мили разных веревок, которыми крепилось все: *тупи* и одежда, седла и седельные сумы; уздечка и конские путы – это тоже веревка. Все в жизни индейца, все его оружие и инструменты скрепляли веревочные узлы. И эти веревки, дюйм за дюймом, нужно было еще сплести. Листья юкки и агавы размачивали и слегка отбивали, годилась также трава или кора кедра. Размягченные волокна сплетали в длинные веревки. В дело шли и жилы животных – олени сухожилия разжевывали до мягкости. Самыми ценными считались позвоночные сухожилия – они длинные и эластичные, но их так мало, что использовали их только для оружия, женщинам запрещали брать ценные волокна на хозяйство.

В крайнем случае веревку можно было сделать из сыромятной кожи, но для нее находилось лучшее применение, а влажная она вдобавок отлично растягивалась. Кусок кожи расправляли и разрезали по спирали полоской в пару дюймов шириной, начиная с края, пока вся кожа не превращалась в одну длинную ленту. Для лассо требовалось шесть таких кожаных лент, и обычно каждый воин сам плел себе лассо, если поблизости не оказывалось ничем не занятой женщины.

Команчей страшно раздражало невежество и неловкость белых пленников. Сами они с детства знали: неважно, сколько времени потребуется – минута или час, – чтобы развесть огонь или сделать кинжал, выследить животное или врага, но от этого может зависеть жизнь или смерть. Никто не мог состязаться с индейцами в лености, когда заняться было действительно нечем, в остальное время они трудились терпеливо и старательно, как ювелиры. В лесу они замечали малейшую былинку, знали, как она называется, в какое время съедобна, можно ли ее использовать для лечения. Они могли выследить любое живое существо, ступавшее по этой земле. Любого из них можно было оставить нагишом посреди леса или прерии, а через несколько дней он уже наладил бы нормальную жизнь, даже не лишенную комфорта.

Мы рядом с ними казались тупыми ленивыми волами. Индейцы никак не могли взять в толк, почему им не удастся истребить нас всех до единого. Тошавей частенько приговаривал, что женщины бледнолицых, видать, откладывают яйца, как утки, и из них каждую ночь вылупляются новые бледнолицые, так что перебить их всех просто невозможно.

А я все скоблил и скоблил шкуры; и засыпал, и просыпался с ощущением скребка в ладони. Когда шкура была вычищена и высушена, мы брали кожаный бурдюк и пропитывали ее каким-нибудь подходящим жиром, салом, мозгами, мыльным отваром юкки (для этого я выкапывал растение, разрубал, тащил в селение, там размачивал, толлок и кипятил) или просто смазывали подтухшей печенкой. Чаще всего использовали медвежий жир, и на медведей охотились только из-за него. Отец и прочие жители приграничья считали медвежатину с медом королевским ужином, но индейцы ели мясо медведя, только если поблизости не было никаких копытных.

Если на шкуре оставалась шерсть, ее дубили с одной стороны, в противном случае – с обеих. Потом наступала пора самой противной работы: два дня напролет надо было разминать, тискать, выкручивать кожу, чтобы она стала мягкой. И окончательный штрих – прокоптить, чтобы сделать водонепроницаемой. Но если кожу готовили на продажу, то этим уже не занимались.

Однажды, дело было в августе, Неекару остановил меня, когда я тащил мехи с водой. Почти все лето мы не виделись, хотя жили в одном *тупи*, – Неекару часто уезжал, а даже если был рядом, женщины не давали мне покоя, заставляя трудиться от темна до темна.

Из последнего набега он вернулся со скальпом, и теперь, хотя внешне он все еще оставался долговязым подростком, женщины искали его расположения, а мужчины приглашали к своим кострам. Никакой особой церемонии инициации у команчей не было – ника-

ких испытаний в меткости или мужестве вроде подвешивания на крюках за соски. Если ты чувствовал, что готов, то просто отправлялся с мужчинами в набег; сначала присматривал за лошадьми, а со временем тебе позволяли ввязаться в бой.

– Это женская работа, – бросил Неекару вместо приветствия.

Воду надо было отнести к *типи*, а потом предстояло еще накопать картошки.

– Они заставляют меня.

– Так скажи, что не будешь этого делать.

– Тошавей побьет меня.

– За это – никогда.

– Ну, тогда побьют его жены, мать и соседки.

– И что?

Мы молча прошли несколько шагов.

– А как мне им про это объяснить?

– Просто прекрати это делать. Остальное – неважно.

Мы медленно поднимались по склону холма. День выдался прохладный, и женщины ко мне не очень приставали. Я не видел особых причин будить лихо. Неекару, должно быть, догадался, о чем я думаю, потому что внезапно остановился и с силой толкнул меня в живот. Я рухнул на колени.

– А теперь внимательно слушай, ради своей же пользы.

Я кивнул, осознав, что прежде с трудом сдерживался бы, чтоб не убить его, а сейчас лишь надеялся, что он не будет меня больше колотить.

– Каждый человек хочет быть *не менее*<sup>45</sup>, и тебе дают такой шанс, а ты отказываешься от него. Когда индейцы в резервациях голодают – чикасо, чероки, вичита, шауни, семинолы, квапа, делавары, даже апачи, осаджи и многие мексиканцы, – они стремятся стать частью нашего племени. Они бегут из резерваций, рискуют *ооибенкаре*<sup>46</sup>, половина из них погибает в поисках наших стоянок. Как ты думаешь, отчего так?

– Не знаю.

– Потому что мы – свободные люди. Они учат язык команчей, не успев еще до нас добраться, Тиэтети. Говорят на своих языках и на языке команчей. Знаешь почему?

Я молча покосился на мехи с водой.

– Потому что команчи никогда не ведут себя как женщины.

– Мне нужно отнести воду.

– Делай что хочешь. Но потом будет поздно что-то менять, и все будут считать тебя *на'раибоо*<sup>47</sup>.

Наутро жены Тошавей, его мать и соседки затеяли уборку вокруг *типи*. Мужчины сидели у костра, курили или доедали свой завтрак.

– Принеси воды, Тиэтети-гайбо.

Так полностью звучит мое имя. Оно означает Печальный Маленький Бледнолицый. Не так плохо, у команчей быва ют имена и похуже. Я не задумываясь поднял ведро, но тут поймал взгляд Неекару.

– Пошевеливайся, – повторила дочь Тошавей, пристально глядя на Неекару.

Кажется, она догадалась, что происходит. Бесконечная изматывающая работа, от которой я еле ноги таскал, давалась женщинам ничуть не легче, и если я откажусь, мои обязанности лягут на плечи ее матери и бабки.

---

<sup>45</sup> Самоназвание команчей, буквально – «наш народ».

<sup>46</sup> Быть повешенным (ком.).

<sup>47</sup> Рабом (ком.).

– Я не буду больше таскать воду, – буркнул я. – *Оквее туку не миаре.*

Одна из соседок, громогласная, как упрямая ослица, и тяжелее меня стоунов на восемь, одной рукой ухватила топор, а другой – мое запястье. Я бросился в проход между *типи*, петляя между разбросанным повсюду барахлом. Мужчины хохотали и улюлюкали, и тут она швырнула в меня топор. Впервые за несколько месяцев мне повезло – топорнице угодило в голову обухом. В ушах зазвенело, но старуха угомонилась и остановилась перевести дыхание. Я перешел на шаг.

– Я убью тебя, Тизтети.

– *Насиине*, – огрызнулся я. – Не обосрись.

Мужчины громко обсуждали, куда отправятся на охоту, демонстративно глядя в другую сторону.

– Я пошел на речку, – громко объявил я. – Но не за водой.

– Тогда принеси дров, – попробовала зайти с другой стороны мать Тошавея. – А воду можешь больше не носить.

– Нет. С этим покончено.

Я спустился чуть ниже по течению Канейдиан и уселся на солнышке. На противоположный берег вышел лось, в отдалении резвились какие-то индейцы. Я пригрелся и уснул, а проснулся, когда живот подвело от голода – сбежал-то я еще до завтрака. Ножа у меня не было и вообще ничего, кроме штанов. На рожковом дереве полно было стручков, но мне-то хотелось мяса, поэтому я забрался в камыши и с полчаса обшаривал их в поисках черепахи. Рыба – табу, но черепах есть можно. Прикончить добычу мне было нечем, я просто выволок черепаху на берег, отыскал подходящий кусок кремня, наступил сверху на панцирь и, когда из-под панциря высунулась голова, полоснул по шее острым краем камня. Черепашья кровь немного отдавала рыбой, но оказалась совсем неплоха на вкус. Я перевернул ее кверху брюхом и высосал досуха.

Наверное, мама не обрадовалась бы, увидев, как я пью черепашью кровь, словно какой-нибудь дикарь. Вот уже шесть месяцев я жил с команчами, но у меня до сих пор не было времени спокойно подумать, я только работал и спал, и, наверное, память моя стерлась дочиستا. Вспоминая о маме, я представлял милое женское лицо, но не был уверен, что это на самом деле лицо матери. Черепаха была забыта, я растерянно опустился на песок. Индейские ребята неподалеку играли в реке с новым пленником, мексиканцем. Я махнул им рукой, они помахали в ответ. На душе полегчало.

Черепаха меж тем продолжала истекать кровью. А вдруг Неекару решил просто подумраться? Если женщинам позволят опять кромсать мне пятки в наказание – а других развлечений у них не бывает, – уж лучше было бы таскать воду.

На отмель выползла еще одна черепаха, а потом еще две, я поймал всех. Отрубив им головы, я прикинул, как бы добыть огонь. Довольно быстро отыскал сухой кедр, с которого содрал кусок коры, потом еще один кремень, чтобы вырезать углубление на деревяшке, и короткую прочную палочку. Руки у меня были крепкие, и уже через несколько минут трут занялся.

Когда к берегу подскакал отец Тошавея, я, довольный, валялся на траве, переваривая черепашье мясо. Старик покосился на пустые панцири.

– Ты оставил мне хоть кусочек, маленький обжора?

– Я же не знал, что ты придешь.

Он помолчал, разглядывая что-то за рекой, подумал.

– Садись, – кивнул он себе за спину. – Можешь больше не опасаться наших женщин.

На следующее утро я поднялся поздно, впервые за несколько месяцев. Разбудила меня громкая болтовня Неекару и Эскуте.

– Бледнолицый становится мужчиной, – ухмыльнулся Неекару, когда я выбрался из *типи*.

– Да нет, – фыркнул Эскуте, – он просто перестал быть девчонкой.

Они поделились со мной мясом, которое как раз жарили на костре, дали питья из сумаха и пару картофелин. Потом мы немного посидели, отдыхая, покурили.

– Ну, чем займемся сегодня?

– *Мы* – ничем, – наставительно сказал Эскуте. – А вот *ты* пойдешь играть с детьми.

Похоже, они не шутили. Мужчины решили, что мне больше подойдет общество восьми-девятилетних ребяташек.

К десяти годам мальчишка из племени команчей мог подстрелить любое существо меньше бизона, причем из лука, изготовленного собственными руками. В Бою в Доме Совета в Сан-Антонио<sup>48</sup>, когда великие вожди команчей прибыли на мирные переговоры, а бледнолицые устроили резню, восьмилетний парнишка-команч, поняв, что его народ предали, подхватил свой детский лук и пронзил ближайшего бледнолицего прямо в сердце. Толпа бледнолицых растерзала его, когда он пытался вытащить свою стрелу.

Мальчишки, к которым меня отправили, были маленькими и шуплыми по сравнению со своими бледнолицыми ровесниками, но каждую минуту своей короткой пока жизни они учились скакать верхом, стрелять и охотиться. Они удерживались на норовистых скакунах, которые легко сбросили бы любого взрослого белого мужчину, и запросто попадали друг в друга тупыми стрелами даже на бегу. В их жизни не было ни уроков, ни воскресной школы; от них вообще никто ничего не требовал, и все их обязанности сводились к естественным занятиям – охотиться, читать следы, играть в войну. Со временем взрослые воины начинали брать их с собой в набеги, просто караулить лошадей, и постепенно игры в войну сменялись настоящими боевыми походами.

А еще мальчишек учили воровать, но непременно в присутствии владельца вещи и с обязательным возвращением похищенного. У Тошавея, к примеру, стащили его нож прямо из ножен, пока он обедал, а пистолет уволокли из-под плаща. Каждый бледнолицый знал, что индеец уведет вашего коня, даже если вы ляжете спать, обвязавшись поводьями. «Этот человек – лучший конокрад в племени» – для команчей означает высочайший комплимент, это все равно что сказать – человек может незамеченным пробраться в самое сердце вражеского лагеря, а поскольку лошади были ходовой валютой и среди индейцев, и у бледнолицых, то ловкий конокрад еще и богатый человек. Команчи с радостью угоняли лошадей у рейнджеров и у поселенцев, так как животные все равно обречены были погибнуть в пасти волка или когтях пумы или просто от недостатка воды.

Через несколько недель непрерывных упражнений меня сочли готовым к охоте с луком, и вот еще с тремя мальчишками мы устроили засаду в зарослях тростника у реки. Ждали мы долго, и тогда один из мальчишек сорвал тростинку и подул в нее, изображая плач раненого олененка. Почти сразу послышался топот, потом все стихло, и вновь топот. Я заметил олениху, пробирающуюся между поваленными деревьями в густой траве. Навострив уши, она уставилась, казалось, прямо на меня. Я не сумел бы натянуть лук незаметно, не говоря уже о том, что стрела не пробьет лобные кости зверя, только ребра.

Мой десятилетний спутник тихо свистнул, олениха повернула голову.

– Давай, стреляй, – шепнул он мне.

– В грудь, что ли?..

---

<sup>48</sup> В 1840 г. вожди команчей прибыли в Сан-Антонио на мирные переговоры по поводу белых пленников. Когда переговоры зашли в тупик, техасцы открыли стрельбу.

– Стреляй в шею. И целься пониже, а то она может наклониться.

Натягивая тетиву, я почувствовал себя увереннее – животное все еще стояло неподвижно, – но, заслышав звук спускаемой тетивы, олениха припала к земле и стремительно прыгнула. Каким-то чудом стрела все-таки достигла цели, но лишь оцарапала. И олениха, задрав хвост, умчалась прочь.

– Йии, – раздосадовано покачал головой самый маленький. – *Тиэтети тса авину*<sup>49</sup>.

– Что теперь делать? – вздохнул я.

– *Аиту*, – ответил старший. – Очень плохо. Придется выслеживать ее целый день.

Все остальные дружно вздохнули.

Мы спустились к реке, поискали черепаш, поставили несколько капканов, а когда старшие решили, что олениха уже успокоилась и начала слабеть от потери крови, двинулись по ее следу – четыре пятнышка крови и содранный с бревна клочок мха. Примерно в полумиле она прилегла, обессилев, но мы спугнули ее, вонзив еще три стрелы. Еще немного подождали, никуда не спеша, и, когда вновь отыскивали ее, олениха была уже мертва.

– Это нечестно, мы же подманили ее, – сказал я.

– Тогда в следующий раз подбирайся ближе и ударь копьем.

– Или ножом.

– Или иди на медведя.

– Да ладно, я же просто сказал про манок.

Старший нетерпеливо отмахнулся.

– Нам велели добыть оленя, *Тиэтети*, и воины рассердятся, если мы вернемся с пустыми руками. В следующий раз постарайся перебить зверю хребет, чтобы нам не пришлось таскаться за ним весь день напролет.

– Еще неплохо разорвать крупную артерию.

– Ты все время крутишь пальцами, – сказал восьмилетний малыш, натягивая воображаемый лук. – Надо держать их подальше от тетивы.

– Тебе же показывали, – напомнил старший.

Я угрюмо молчал.

– Если теревить тетиву, ни за что не попадешь куда надо.

– Я отлично стреляю из ружья, спросите Тошавая.

– Тогда ступай отыщи зеленых веток, Мистер Отличный Стрелок.

Мальчишки сами мастерили себе луки и стрелы, но настоящее оружие делали старики, бывшие воины, те, кто слишком плохо видел и слишком медленно двигался, чтобы участвовать в набегах. Или силы их иссякли, или, трудно поверить, они устали убивать и хотели провести остаток дней, создавая красивые вещи.

Лучшие луки делали из ветвей маклюры, хотя ясень, шелковица и гикори тоже годились, а для стрел – кизил. Мы носили с собой крупные зерна *охапууни*<sup>50</sup> и сажали их везде, где они могли прорасти. И так поступали все воины всех племен сотни, а может, и тысячи лет, и потому маклюра росла повсюду на равнинах. *Пареа*, гикори, тоже важное растение. Отыскав где-нибудь рощицу, мы обрезали ветви почти до самой земли. По весне каждый подрезанный орех давал дюжину новых идеально ровных побегов, из которых получались отличные стрелы. За этими «рощами стрел» присматривали, обрезая деревья бережно и экономно, чтобы не повредить.

---

<sup>49</sup> *Тиэтети* промахнулся (ком.).

<sup>50</sup> Маклюра оранжевая, дикий апельсин (ком.).

За обычный лук – лучшего качества, чем любой нынешний фабричного производства, – давали лошадь. Верхнее и нижнее плечо лука должны распрямляться с равной силой, после того как тетива натянута на определенное расстояние, – тонкая работа. За необычный лук, богато украшенный или очень хорошего качества, можно было отдать две или даже три лошади. Наши луки были примерно ярд в длину (довольно короткие по сравнению с оружием восточных племен, но в отличие от них мы стреляли с лошади) и снаряжены тетивой из позвоночной жилы оленя или бизона. В тяжелые времена мастерам приходилось делать луки быстро; если дела шли неплохо – воины не погибали в схватках и их оружие не доставалось врагу, – у стариков было достаточно времени, чтобы луки их работы вошли в легенды.

Точно так же со стрелами. Она должна быть прямой, нужной длины и прочности, а оперение идеально ровным и сбалансированным; на одну уходило полдня – при том, что не меньше двух дюжин стрел мы тратили всего за минуту боя. Древко выпрямляли, полировали, балансировали. Кривая стрела все равно что ружье с гнутым стволом. В разгар битвы, когда приходилось выпускать стрелы очень быстро, команчи с легкостью стреляли на пятьдесят ярдов, а если была возможность не спешить, то и на целую сотню ярдов. Я однажды видел, как Тошавей прикончил антилопу на расстоянии фарлонга. Первая стрела пролетела выше (но упала так тихо, что животное даже ухом не повело), вторая немного не долетела, но тоже в полной тишине, и, наконец, третья вошла точно между ребер.

Тетиву почти всегда делали из жил, которые позволяли пускать стрелы быстрее, но в сырую погоду на них нельзя было положиться. Кое-кто предпочитал тетиву из конского волоса – не такую быструю, но надежную в любых условиях, а еще были воины, которые мастерили тетиву из медвежьих кишок.

Лучшее оперение получалось из перьев индюка, но перья совы и сарыча тоже были хороши. Орлиные и соколиные перья никогда не использовали, потому что они портились от крови. В древке идеально ровной стрелы прорезали желобок. Мы делали два желобка, а липаны – четыре. Это нужно было для того, чтобы кровь из раны продолжала течь, и заодно предохраняло стрелу от деформации.

Наконечники стрел для охоты закрепляли вертикально, потому что ребра у зверей расположены вертикально. А у боевых стрел лезвия наконечников параллельны земле, как ребра у человека. На охотничьих стрелах наконечники закрепляли намертво и засечек на древке не делали, чтобы легко можно было извлечь стрелу из тела зверя и еще не раз ее использовать. Наконечники боевых стрел крепились еле-еле, чтобы при попытке вытащить стрелу наконечник застрял в теле врага. Если вас ранили боевой стрелой, ее нужно протолкнуть сквозь рану насквозь и вытащить с другой стороны. В те времена о таких вещах знали все бледнолицые, но они не догадывались, что для охоты мы использовали совсем другие стрелы.

Племена равнины прикрепляли к своим стрелам по три пера, а восточные племена чаще всего два; за это мы их презирали, потому что такие стрелы хуже попадали в цель. Но восточных индейцев это нимало не беспокоило, все равно каждую неделю они получали от бледнолицых свою долю мяса и постоянно были пьяны в стельку, приговаривая, что уж лучше им лежать в земле вместе с предками.

Время от времени я замечал немецкую девчонку, которую захватили вместе со мной. Почти у всех индейцев были рабы или пленники в услужении, мексиканские мальчишки и девчонки, ведь чаще всего набеги совершали именно на соседнюю Мексику. Налог, который брали команчи с этой земли, рассчитывался по другому тарифу – целые деревни в одну ночь стирали с лица земли, – так что техасцам не кому было жаловаться.

Белых пленников тоже было немало, в основном из поселков рядом с Далласом, Остином и Сан-Антонио, одного парнишку захватили где-то далеко в Восточном Техасе,

ну и конечно, пленники из других племен. Поскольку мне предстояло великое будущее, я избегал общения с этими жалкими людьми.

Я нарушил это правило только ради немецкой девчонки по имени *Сухиоханиту*, что означало Желтые Волосы Между Ног. Но обычно она отзывалась на просто Желтые Волосы. Не знаю, кем она была в прошлой жизни, что значила для своих близких, но для команчей она стала невидимкой, недочеловеком. Днями напролет она скоблила шкуры, таскала воду и дрова, выкапывала *тутунине*<sup>51</sup> – в общем, делала то же самое, что и я первые полгода. Но для нее выхода из этого круговорота не было.

Как-то весной я наткнулся на нее на пастбище. Выглядела она неплохо, вот только для белой женщины была непривычно мускулистой, да, пожалуй, не помешало бы чуть больше жирка на боках. Вдобавок у нее, кажется, развивалась водобоязнь. Во всяком случае, я издали учуял исходящую от нее вонь, а спина была усеяна *мохтоа*<sup>52</sup>, как будто она уже несколько месяцев не мылась.

– А, это ты, – заговорила она по-английски. – Избранный. (Похоже, она была в дурном настроении.) Смотрю, тебе неплохо живется.

От звука английской речи я неожиданно растерялся. На языке команчей я посоветовал ей почаще мыться. Грубо и несправедливо, конечно, но я разозлился на ее слова, она как будто назвала меня дезертиром.

– А зачем? – буркнула она. – Я надеялась, что так они не будут ко мне приставать, но не помогло.

– Им не стоит лезть к тебе, еще подхватят чего.

– Но лезут же...

– Ну, это неправильно.

– Хорошо, что ты так говоришь.

– А раньше?

– Один или двое приставали особенно часто. Хотя какая разница?

– Как себя чувствуют лошади? – сменил я тему. – Вон у той, смотрю, болячка на ноге. Я могу принести кусок кожи, завязать.

– Как ты думаешь, кто мы для них? Если я обращаюсь к ним, они делают вид, что не слышат. Дали мне новое имя, из-за этого, – показала она себе между ног. – Вот все, что я собой представляю.

Я молчал.

– Единственное, что меня радует, – с моей смертью они потеряют часть денег, потому что я успею отскоблить меньше шкур. А ты, Тиэтети, – она подняла голову, – ты считаешь себя человеком?

– Конечно.

– Ты еще совсем ребенок. Они правильно сделали, что забрали тебя с собой.

Я опять разозлился.

– Знаешь, я мог бы тебе помочь, стоит только попросить, – хотя я не представлял, что тут можно сделать.

– Тогда убей меня. Или увези отсюда. Все равно куда.

Печально повесив голову, она вернулась к своей работе.

Я оглянулся, отыскивая Эканаки, рыжеухого пони, которого подарил мне Тошавей. Солнце садилось, холодало, поле вокруг было усыпано конским пометом.

– Мне нужно забрать лошадь, – пробормотал я.

---

<sup>51</sup> Съедобные корни (ком.).

<sup>52</sup> Прыщ (ком.).

– Так я и знала.

Я предпочел бы никогда в жизни больше с ней не заговаривать.

– Тизтети, – окликнула она. – Если я буду знать, что это ты, я не стану сопротивляться. – Она показала место на шее, куда нужно втыкать нож. – Обещаю. Я просто не могу сама решиться на это.

## Одиннадцать Дж. А. Маккаллоу

Дом мертв уже давно, она последнее его дитя. Надо заставить себя подняться. Люстра, висящая прямо над головой, безразлична к ее страданиям. *Вставай*, мысленно скомандовала она. Бесполезно.

В ее детстве здесь всегда было шумно и весело, ни минутки тишины и одиночества; только представить, что однажды она будет лежать здесь одна, а в доме пусто и тихо, как на кладбище... Когда она возвращалась из школы, в гостиной или на террасе всегда толпились люди, и она любила вертеться рядом, прислушиваясь к их разговорам. Полковник и его друзья выпивали, смеялись или стреляли по тарелочкам. Здесь бывали серьезные молодые люди, которые пришли записывать воспоминания Полковника, небогатые старики, доживавшие свой век в меблированных комнатах, а еще мужчины, чем-то неуловимо напоминавшие Полковника, тоже миллионеры.

Сюда приезжали репортеры, политики и индейцы, последние обычно большими компаниями, человек по шесть-восемь в одной машине. В присутствии индейцев Полковник становился совсем другим – не устраивал торжественного приема, как для своих белых гостей, а просто сидел, слушал и молча кивал. Ей это не нравилось. И индейцы были какие-то неправильные, одевались вовсе не так, как полагается индейцам, – их запросто можно было принять за простых фермеров или мексиканцев, – и пахло от них странно, и они совсем не замечали ее. Индейцы бродили по всему дому, отец опасался, что они подворовывают по мелочи. Но Полковника, похоже, это совершенно не беспокоило, а с ковбоями индейцы прекрасно ладили. Частенько по утрам, войдя в гостиную, она обнаруживала дюжину стариков, мирно спавших в окружении своих бывших врагов, в комнате обычно стоял крепкий запах пива, виски и недоеденной говяжьей полутуши, забытой в камине.

Этот дом принадлежал Полковнику, и только ему, но сам хозяин ночевал в хакале у подножия холма. Отец жаловался на вечный шум, бесконечный поток гостей, толпы каких-то непонятных личностей в доме, на размеры счетов и разбухший штат домашней прислуги. Полковник не обращал внимания; он считал, что отцу следует заниматься исключительно налоговыми проблемами ранчо и торговать скотом. «За двадцать лет мы не получили ни дайма прибыли от этой тупой скотины» или «Этот человек сесть посрать не может без разрешения правительственного агента».

Полковник выступал за нефть, за то, чтобы Джонас учился в Принстоне, и всегда был на стороне Клинта с Полом, чертовски толковых работников. *Но ты*, приговаривал он, похлопывая ее по плечу, *тебя ждет необыкновенная судьба*. Если бы она знала, насколько хрупким окажется этот мир. Глядя снизу на полутемную комнату, она видела, каким дом станет в недалеком уже будущем: рай для сов и летучих мышей, обитель крыс и койотов, а в бывшей гостиной – отпечатки оленьих копыт. Крыша провалится, сквозь половицы прорастет кустарник, и вскоре от роскошного прежде особняка останутся лишь голые каменные стены посреди пустыни.

Кроме Полковника ее воспитанием занималась только бабушка. В самые жаркие дни та любила сидеть в библиотеке, где в тысячный раз перебирала содержимое бесконечных шкапулок, фотографии и ферротипы. Вот это ее первый муж, он скончался, а детей у них так и не было, вот это сестры, они умерли от тифа, а вот дядя Гленн в военной форме. Фотографий Глендейла – который был ранен мексиканцами, но погиб на войне с гансами – было гораздо больше, чем фото матери Джинни. Если бабушке и было известно что-нибудь

о женщине, которой Джинни обязана своим появлением на свет, она предпочитала этим не делиться. *Это твой прадедушка Корнелиус, самый знаменитый юрист в Далласе, твой прапрадедушка Сайлас Бернс, у которого были самые большие плантации в Техасе, пока янки не увели всех ниггеров.* Джинни за всю жизнь видела всего нескольких негров, хотя, говорят, в Восточном Техасе их полно. А эти старики на древних дагерротипах, в забавных воротничках, с нафабранными усами, застегнутые на все пуговицы, они выглядели так, словно кол проглотили. Плевать, что там твердит бабушка. У нее нет ничего общего с ними и никогда не будет, это чужие люди.

Приглашения на балы, визитные карточки, безвкусные брошки. Дешевые побрякушки для маленьких девочек. Обручальное кольцо от первого мужа, который умер еще до ее встречи с Питером МакКалллоу. Тем самым дедушкой Джинни, который Великое Разочарование.

Они с бабушкой иногда выезжали верхом; слуга седлал лошадь дамским седлом, единственным на весь округ Диммит. Наездницей бабушка была прекрасной, несмотря на жутко неудобное снаряжение, и вечно бранила Джинни, что та ездит без седла и лазает по заборам. *Ты еще пожалеешь, что вытворяла всякие глупости.* Какие именно глупости, впрочем, не уточняла, а если Джинни засыпала во время очередной заунывной истории о бабушкином детстве, будила ее очень болезненным щипком.

Бабушке, как и остальным взрослым, похоже, нравилось быть занудой; она говорила и говорила, и Джинни уже хотелось, чтобы *она* умерла вместо очередного персонажа бесконечных семейных историй, каждый из которых был умнее, красивее, добродетельнее и остроумнее всех на свете. Вот Полковник, должно быть, позабыл все скучные истории, если вообще знал их когда-то. Он никогда не повторялся. Показывал, где найти гнездо ястреба или пару оленей-самцов, которые погибли, сцепившись рогами, или окаменевший доисторический листик, или древние кости, или настоящие кремни. Они завели специальную коробочку, куда складывали ценности, найденные во время совместных прогулок, – черепа маленьких мышат, белок, енотов и разных других зверьков.

Когда в доме не было гостей, Полковник сидел на террасе, мастерил наконечники для стрел или вырезал из дерева. Однажды, в задумчивости превратив деревяшку в кучку опилок, он обратился к ней:

– Знаешь, не будь я так стар, мы бы занялись аэропланами. Можно было бы строить их здесь и продавать правительству, и они садились бы на поле, что неподалеку от Сандерсона.

Он пытался научить ее делать наконечники для стрел, но ничего не вышло. Она порезала ладонь острым кремнем; сначала удивилась, что простой камень может так глубоко разрезать тело, потом глаз не могла отвести от струйки собственной крови, потом ее затошнило. Полковник вышел из своего привычного транса, отвел ее в кухню, перевязал рану, и они вернулись на террасу.

– Думаю, тебе сейчас не помешает выпивка, – подмигнул он. Подошел к буфету и смешал ей джулеп, но без виски. А потом, вопреки запретам ее отца, позволил отхлебнуть прямо из ледяного серебряного шейкера.

Это был их маленький заговор против всего, что считалось правильным и добропорядочным. Она была абсолютно счастлива и мгновенно забыла про боль в порезанной ладошке.

– Это все глупости, – Полковник отобрал наконечник, который Джинни начала было затачивать. – Хотя если сумеешь сделать нож, все остальное получится запросто. Когда-нибудь я соберу все наконечники, что смастерил, и разбросаю их вокруг ранчо. Может, через тысячу лет историки отыщут их и наплетут всяких небылиц. – Он вскинул голову. – Дрозд полетел.

Она пристально всматривалась вдаль, но так ничего и не разглядела. Несмотря на раннюю весну, солнце светило вовсю; трава все еще свежа, а молодые дубы окутаны легкой зеленоватой дымкой.

– Говорят, немец по имени Герц, – задумчиво проговорил Полковник, – назвал своим именем, кроме всего прочего, способ раскалывать кремни. Хотя, конечно, изобрел этот способ не он. Человек, который это придумал, умер два миллиона лет назад. Примерно столько времени люди раскалывают камни, чтобы мастерить свои орудия. – Показывая осколок кремня, он сказал: – Запомни, это все ничего не стоит, пока ты не дашь ему своего имени.

## Двенадцать Дневники Питера Маккаллоу

16 августа 1915 года

Едва стемнело, поднялась пальба. Ближе к полуночи толпа мужчин появилась у ворот – размахивая факелами, они орали и требовали выдать мексиканцев.

Некоторое время они топтались на дороге – человек пятьдесят точно, не меньше, так запросто границы владений МакКаллоу не нарушить, – но потом один все же решился вскарабкаться на ворота. Тут мы дали первый залп поверх голов. Чарлз нашел отличное применение своему автоматическому ремингтону, выпустив полтора десятка очередей, – толпа дрогнула и обратилась в бегство. Нам пришлось довольно долго гасить костерки, вспыхнувшие там, где они побросали факелы.

Позже подъехали Нил Гилберт и с ним еще двое из Лиги Закона и Порядка, умоляли выгнать мексиканцев, пока город не сожгли.

– Так идите и перестреляйте ублюдков, которые жгут ваш город, – заорал Чарлз. – Оружия-то у вас хватает.

– Сколько у вас людей, Питер?

– Достаточно. Мексиканцев я тоже вооружил, – вообще-то это неправда.

– Для вас это добром не кончится.

Консуэла и Салливан всю ночь простояли у плиты, наготовили горы говядины и *кабрито*<sup>53</sup>. К утру половина семейств попросила позволения остаться на ранчо, пока в городе не станет безопасно. Другая половина, снабженная запасами провианта и воды, двинулась через наши пастбища в сторону реки и мексиканской границы. Они рисковали оказаться в зоне военных действий, но это лучше, чем дожидаться побоища здесь.

Разумеется, все считали, что Полковник должен их спасти, – кто же еще, если не дон Илай? Я ужасно злился, но не смел вмешаться. Ума не приложу, как они представляют себе демократию и намерены в ней жить – с их-то убежденностью, что влиятельные люди должны руководить их жизнью. Возможно, в этом отношении они просто честнее нас.

Отец держался молодцом, развлекал на террасе ребятишек байками про индейцев, показывал, как разводите огонь трением палочек, как стрелять из лука (он до сих пор запросто натягивал свой старый индейский лук, у меня на это сил не хватало). Старик хохотал, шутил и вообще был полностью доволен – таким счастливым я его не помнил с тех пор, как мама умерла. Ему, пожалуй, стоило стать школьным учителем. Глядя на вереницу беженцев, тянущуюся к реке, мулов и повозки, груженные нехитрым скарбом, он задумчиво произнес:

– Я так думаю, это последние, кто бежит на Юг.

И все же они любили его. Вечерами они возвращались в свои хакале, которые летом превращались в настоящие духовки, а зимой в холодильники, а он шел ночевать в огромный дом – распластавшееся на холме белоснежное чудовище стоимостью в их заработок за тысячу лет, если не за миллион. А их дети рождались мертвыми, и они хоронили младенцев прямо за кораями. *Кто ты такой, чтобы говорить, будто они несчастны?* – спрашивает белый, глядя тебе прямо в глаза.

---

<sup>53</sup> Тушенная козлятина или баранина (*исп.*).

Когда основная масса мексиканцев отбыла, мы обошли весь город, дом за домом, и всем, кого не знали лично, дали пять минут на сборы. Кэмпбелл развесил новые листовки:

**КАЖДЫЙ, У КОГО ЕСТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ, БУДЕТ ЗАСТРЕЛЕН И / ИЛИ АРЕСТОВАН.**

К шести вечера улицы опустели. Четырнадцать домов сожгли. Сержант Кэмпбелл уезжает завтра, ему нужна помощь врача. По всей видимости, это отличный повод не связываться с охраной крупных ранчо на Юге: двести участков там – среднего размера хозяйство. Но благодаря сахарной терапии от Гильермо рука его не стала хуже.

Чтобы развеяться немного, решил полистать газету, впервые за неделю. В Галвестоне волнения, убиты триста человек. Грандиозная победа, учитывая, что в прошлый раз погибли десять тысяч, покончив со статусом Галвестона как главного города штата.

В пять часов звонила Салли. Кажется, лихорадка Гленна утихла.

*18 августа 1915 года*

Сегодня на сходе всех оставшихся еще жителей города я предложил назвать железнодорожную станцию в честь Билла Холлиса (убитого у Гарсия), предложение поддержали и утвердили. Ужасно жаль Марджори Холлис. Про Гленна и его ранение без конца пишут во всех газетах, Чарлза называют командиром штурма логова Гарсия (не забывая всякий раз упомянуть, что он – внук знаменитого индейского воина Илая МакКаллоу), а про Билла написали только однажды, да и то в местной газете.

Позже я задумался, а почему не предложил назвать станцию в честь одного из убитых мексиканцев.

*20 августа 1915 года*

Гроза отлично увлажнила землю. Все в приподнятом настроении. Кроме меня. Мучает бессонница – опять преследуют лица Гарсия, – большую часть утра провожу в нервном оцепенении, не знаю, чем занять себя, нечем отвлечься... Страшно вглядываться в тени прошлого, я знаю, кого встречу там.

Навестил Рейнолдсов разузнать, как там выжившая девушка, Мария Гарсия. Она сначала заперлась в свободной спальне, а ночью сбежала, прихватив пару старых башмаков, привезли-то ее босую.

Айк поманил меня на террасу и тихо, чтобы нас не услышали остальные, сказал:

– Пит, не пойми меня неправильно, но на месте этой девушки я бы догадался, что вообще-то я – единственный выживший свидетель убийства. – И тут же примирительно вскинул руки: – Нет, я ни на чем таком не настаиваю, но с ее точки зрения...

– Я был против с самого начала.

– Знаю. – Он смущенно шаркнул подошвой ботинка. – Иногда так хочется, чтобы наша жизнь была устроена по-другому.

## Тринадцать Илай / Тиэтети

1850 год

Спустя год ко мне относились как к обычному мальчишке-команчу хотя приглядывали за мной внимательнее – как за дядюшкой-алкоголиком, который дал зарок не пить. Мать Природа наградила меня темными волосами и глазами, а кожа стала смуглой, оттого что я всю зиму грелся нагишом на солнышке, подстелив мягкие шкуры. Спал я как убитый, и меня не тревожили мысли о возвращении к бледнолицым. Там, в прошлом, не было ничего кроме позора и горя, и даже если мой отец разыскивал меня, мне об этом ничего не было известно.

Эскуте и Неекару все так же пренебрегали мною, поэтому я проводил время с мальчишками. Мы научились объезжать лошадей, принадлежащих племени, и ждали, что вскоре нас возьмут в набег, вести ремуду Табун необъезженных пони неуклонно пополнялся: если где-то в прериях замечали мустангов, самые быстрые воины мчались туда и приводили в лагерь тех, что удавалось заарканить, не сломав им шеи. Потом лошадям зажимали ноздри и держали так, пока животное не начнет обессиленно оседать на землю. А дальше оставалось только связать и отдать ребятишкам, чтобы те укротили дикое создание.

Бледнолицые отчего-то любили гнедых коней, но у индейцев все иначе, нам нравились только пять видов: рыжей масти, вороные, аппалуза<sup>54</sup>, рыжие «докторские шапочки» и черные «докторские шапочки». У лошадей в «докторских шапочках» макушка и уши темные, а еще на груди бывает отметина в форме рыцарского щита. А были еще и такие – *ниа тсонника*, то есть боевой шлем, – у которых черные пятна вокруг глаз, издавлек морды этих лошадей похожи на череп. За столетия жизни в суровых прериях они стали злобными, как пумы, и на домашних животных были похожи примерно так же, как волк похож на комнатную собачонку. Дай им волю, и они тут же переломают тебе ребра. Мы их очень любили.

Я спал когда хотел, ел когда хотел и делал только то, что хотел. Бледнолицый, что жил внутри меня, все ждал – вот сейчас заставят заняться каким-нибудь скучным делом, но ничего подобного так и не случилось. Мы объезжали мустангов, охотились, боролись, мастерили стрелы. Мы лишали жизни всякую живую тварь, попадавшуюся на глаза, – сурков и диких кур, чибисов и фазанов, чернохвостых оленей и антилоп. Наши стрелы настигали лосей, пум и медведей любого возраста, и мы швыряли свою добычу к ногам женщин и уходили, гордо расправив плечи, как настоящие мужчины. По берегам реки мы находили кости огромных бизонов и гигантские окаменевшие раковины, такие тяжелые, что невозможно поднять; раков и осколки каких-то древних горшков мы затаскивали на утесы и швыряли об камни внизу. Ночами мы охотились на рысей, когда те выслеживали уток в камышах. А вокруг становилось все теплее, и расцветали цветы, юкка пускала свежие побеги, и высоко в небо торчали белоснежные цветущие гроздья. Прерия превратилась в разноцветное лоскутное одеяло: вот зеленое пятно, дальше синее, красное, оранжевое; васильки, гайлардия, «чай навахо»<sup>55</sup>, до самого горизонта, насколько хватает глаз. Снег сошел, и солнце мелькало сквозь плотные низкие тучи, стремительно гонимые ветром в сто рону Мексики, где вскоре от них не останется даже воспоминаний.

Понятное дело, кого-нибудь из нас позовут в военный набег. Я был самым старшим, единственным, у кого начал пробиваться пушок на подбородке, но при этом я же был

<sup>54</sup> Чубарая порода лошади, выведенная американскими индейцами.

<sup>55</sup> Космидиум, однолетнее растение с ярко-желтыми цветками, произрастает в естественном виде на юге США.

и самым неловким; крепко стоя на земле, я стрелял вполне прилично, но другие мальчишки и на полном скаку запросто попадали в кролика и фазана. Поэтому, когда однажды утром Тошавей появился на пастбище с пистолетом и новым щитом из бизоньей кожи, он позвал с собой именно меня. Остальные мальчишки отпускали ехидные шуточки, но я не обращал внимания.

Мы отошли подальше, Тошавей прислонил щит к стволу тополя и вручил мне пистолет:

– Давай.

– Прямо так?

– Именно.

Я выстрелил, щит упал. Свинцовая пуля лишь испачкала его, но даже вмятины не оставила. Тошавей ухмыльнулся, поставил щит еще раз, я еще раз выстрелил и продолжал, пока обойма не опустела.

– Вот так, – заключил он. – Щит останавливает пулю. Но если когда-нибудь пуля попадет в неподвижный щит, ты настоящий болван.

Он продел руку в ремни, закрепленные на оборотной стороне щита, и принялся быстро вращать им.

– Все время двигайся. Перья тебя, конечно, прикрывают, но неподвижный щит может остановить только пистолетную пулю. Пуля, выпущенная из ружья, пробьет его. Это как прыгнуть с высокого дерева: если приземлишься на плоскую землю, обязательно переломаешь ноги, но если спрыгнуть на склон холма, все будет в порядке. Если щит движется, он сможет остановить даже ружейную пулю. *Накесуабере?*<sup>56</sup>

Я кивнул.

– Хорошо. Тогда сейчас повеселимся.

Мы направились к старому пастбищу на окраине деревни. Что бы мне ни предстояло сейчас, это произойдет на глазах у всех. Десяток воинов на солнышке играли в *текии*, но, увидев нас, поднялись, достали оружие. У каждого при себе оказался лук и колчан со стрелами.

– Что ж, – улыбнулся Тошавей, – это несложно. Ты будешь стоять, а эти люди будут стрелять в тебя. И хорошо бы тебе как можно больше пользоваться своим щитом.

– А ты куда?

– Не хочу, чтобы меня пристрелили. – Широко улыбаясь, он похлопал меня по макушке и отошел.

Воины выстроились в линию в ста ярдах от меня, прицелились, Тошавей показал мне издали стрелу и крикнул:

– *Кета тса тамакукуману!* Они тупые! – Воины захохотали. – У них нет наконечников! – уточнил он.

Люди высыпали из своих *типи* посмотреть на забаву, а я волновался, сумел ли Тошавей проверить каждую стрелу. А то будет действительно смешно, если среди множества тупых стрел попадется несколько штук с заостренными наконечниками. Я стоил не больше пары лошадей, а многие в деревне терпеть меня не могли.

– *Тиэтети тса мака муките-те!*<sup>57</sup>

Я судорожно кивнул.

– Крути щитом!

Я изо всех сил постарался сделаться совсем маленьким. Сотню ярдов стрела пролетает за несколько секунд, и это целая вечность, если стрела летит не в тебя. Большая часть стрел

---

<sup>56</sup> Понял? (ком.)

<sup>57</sup> Тиэтети, готовься! (ком.)

глухо стукнула в щит и отскочила; одна или две пролетели мимо; остальные ударили меня в бедро, голень и еще раз в голень.

Наверное, это выглядело очень забавно, потому что некоторые из воинов принялись передразнивать меня, подпрыгивая на одной ноге с воплями *анаа анаа анаа*, пока Тошавей не уgomонил их.

– Ты должен двигать щитом! – крикнул он мне. – Он слишком мал, чтобы прикрыть тебя целиком!

Индейцы, продолжая смеяться, открыли огонь, и на мои ноги посыпались новые удары. Одна из стрел задела меня по лбу, когда я попытался высунуть голову из-за щита.

– Не отбивай те, что летят мимо, – подсказал кто-то.

Я съежился за щитом. На моей памяти индейцы еще никогда так не веселились, игра продолжалась, пока у них не кончились стрелы.

Я похромал было к деревне, но публика недовольно заворчала, и мы с воинами просто поменялись сторонами, чтобы они могли собрать свои стрелы.

– Это для твоей же пользы, – крикнули из толпы.

Теперь солнце светило мне прямо в лицо. Я прищурился, заметив очередную стрелу.

Когда я очнулся, Тошавей стоял надо мной, что-то монотонно бормоча, как проповедник.

– Чего? – переспросил я.

– Пришел в себя?

– *Хаа*. – Я осторожно ощупал штаны. Вроде сухие.

– Отлично. А теперь я скажу тебе то, что однажды сказал мне мой отец. Разница между трусом и храбрецом очень проста. Все дело в любви. Трус любит только себя.

Меня мутило, земля была холодной, и вообще у меня, кажется, череп треснул. Тупой стрелой можно даже оленя завалить, если подойти поближе.

– Трус боится только за свое тело, – продолжал Тошавей. – Именно его он любит больше всего на свете. Храбрый человек любит сначала других, а себя – в последнюю очередь. *Наке-суабере?*

Я опять кивнул.

– Вот это, – он похлопал меня по плечу, – не должно для тебя ничего значить. – И он еще раз коснулся моего лица, груди, живота, рук и ног. – Все это ничего не значит.

– *Хаа*.

– Вот и хорошо. Ты храбрый маленький индеец. Но наши люди заскучали. Поднимайся и дай им пострелять в тебя.

Довольно скоро меня вновь сбили с ног. Воины отошли в тени и спокойно играли там, пока Тошавей поливал меня холодной водой и заматывал голову рваным одеялом, оставив открытыми только глаза. Мой вид, конечно, вызвал новый взрыв хохота, но зато одеяло стало чем-то вроде шлема, и я перестал бояться. К концу дня дистанция между стрелками и мной сократилась вполовину, и им теперь приходилось порядком постараться, чтобы попасть в цель. Через неделю в меня не мог попасть никто.

На торжественном «выпускном экзамене» я держал щит, а жирный здоровяк по имени Писон, считавший, что лучше мне быть *на'раибоо*, чем членом племени, стрелял в меня из пистолета Тошавей. Все мышцы у меня свело от напряжения, но я отразил каждый выстрел, и щит ни на миг не останавливался. Писон явно предпочел бы, чтобы светильник моей жизни погас, но я заслужил право носить этот щит. Как всякий священный предмет, он хранился в безопасном месте далеко от деревни. И если до него дотронется нечистый человек, к примеру женщина, у которой месячные, щит придется уничтожить.

Такой плохой весенней охоты никто не помнил. Когда Тошавей был молод, прерия по весне была черна от бизоньих стад, но никто из молодых индейцев этого не видел. Да, отчасти виновата засуха на равнинах, но по-настоящему все изменилось из-за восточных племен, наводнивших наши земли. Им позволили охотиться в наших угодьях, и нам приходилось убивать их так же, как белых. Отличный способ вступить во взрослую жизнь, не забираясь чересчур далеко от родных мест.

Когда отцвела юкка, Тошавей, я и еще несколько дюжин воинов отправились на поиски бизонов или индейцев, нарушивших наши границы. Через несколько дней мы наткнулись на небольшое стадо, двигавшееся к западу, в сторону Нью-Мексико, туда, где воды было еще меньше, а это означало, что-то спугнуло их. Разведчики помчались на восток, а мы завалили бизона, и тут пришла весть, что наши заметили тонков. С некоторыми из жителей резерваций надо было держать ухо востро, но тонкавы уж очень любили огненную воду, справиться с любым из них ничего не стоило. Лет десять спустя их племя будет полностью стерто с лица земли.

Неекару, который как раз учил меня правильно свежевать бизона, одним движением сунул нож в ножны и в три прыжка уже был в седле. Я куда-то задевал лук и когда, наконец, уселся на своего пони, все наши уже мчались, предвкушая скорую добычу.

Прерия вообще-то не плоская, как многие думают, она похожа на океанскую зыбь с холмами и впадинами, и, поскольку я не так уж спешил убить тонкава, вскоре потерял из виду остальных. День был погожим, легкая рябь от весеннего ветерка пробегала по траве, на чистом голубом небе лишь редкие облачка. Солнышко припекало спину. Мысль о том, чтобы догонять тонка, нравилась мне все меньше и меньше. Огнестрельного оружия мне не давали, и даже прочно стоя на земле, я довольно паршиво стрелял из лука; а уж попасть в цель, стреляя со скачущей лошади, я мог только в том случае, если цель неподвижно стоит у меня на пути.

Конь подо мной, видимо, почуял неладное и размашистым галопом помчался вдогонку за остальными, пришлось его слегка придержать. Судя по солнцу, я свернул на юго-запад, к проходам Льяно. Лук у меня есть, можно охотиться, а до границы отсюда недели две, если, конечно, меня не поймают. Вокруг мелькали полянки ярких красных цветов, *пуха натсу*. Я и не знал, как они называются по-английски. Вспомнил об отце. А потом просто дал волю своему коню, и мы вместе поспешили к своим.

Вскоре послышались выстрелы, крики, я увидел всадников, лошадей. Тошавей, Писон, остальные воины стояли над человеком, лежавшим на земле, прямо посреди цветочной поляны. Тело утыкано стрелами, а крови вытекло столько, что хватило бы выкрасить дом; на фоне ярко-зеленой травы она казалась особенно красной.

– Очень хорошо, что ты пришел, Тиэтети-тайбо.

Команчи не запыхались, не вспотели, лошади спокойно щипали траву. Ни у кого в руках не было оружия, только Неекару держал наготове копье на тот случай, если тонк вдруг вздумает шевелиться. Вообще все выглядело так, словно воины рассматривали забитого оленя или лося. А тонк, он пел, со свистом втягивая воздух, грудь и подбородок забрызганы кровью, будто он только что отведал человеческой плоти.

Тошавей с Писоном пошептались о чем-то, а потом Писон вытащил из-за пояса старый пистолет калибра 69, настоящую ручную пушку, и протянул мне:

– Давай, Тиэтети.

И добавил:

– Будь он на твоём месте, он бы накромясал ломтями твою грудь и жрал у тебя на глазах.

Тонк покосился на меня и отвел взгляд, глядя на прерии. Песня его стала громче, тянуть не было смысла, и я нажал на спуск. Пистолет подпрыгнул в руке, индеец вздрогнул и вытянулся во весь рост. Пение прекратилось, ноги его задержались, как у спящего щенка.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.